

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
П. В. Басинский (Москва)
А. В. Болдырев (Курск)
А. В. Кирилин (Барнаул)
В. М. Костин (Томск)
А. К. Лаптев (Иркутск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)
М. А. Тарковский (Красноярск)
М. В. Хлебников (Новосибирск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов
ответственный секретарь

Михаил Косарев
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова
редактор отдела художественной литературы

Кристина Кармалита
начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов
редактор отдела общественно-политической жизни

Елена Богданова
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Т. Л. Седлецкая
Верстка: О. Н. Вялкова

1/2020

Содержание

ПРОЗА

- Геннадий ПРАШКЕВИЧ. Гуманная педагогика.**
Из жизни птеродактилей. Роман. 3
Володя ЗЛОБИН. Отец лжи. Повесть. 56

ПОЭЗИЯ

- Василий МАТОНИН. Продувные ветра.** Стихи. 51
Ольга АНИКИНА. Тихий цикл. Стихи. 117
Виктор КОВРИЖНЫХ. Над колхозной державой. Стихи. 139
Максим ЗАМШЕВ. «Там, где была когда-то остановка». Стихи. 144

ДРАМАТУРГИЯ

- Владимир КАЗАКОВ. Малая Бронная, 21/13.** Пьеса. 121

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Максим Замшев: «Визуальное вытесняет вербальное!»** 147

Новосибирскому государственному краеведческому музею — 100 лет

- Павел ОРЛОВ. Пиратский сундук и другие сокровища музея.** 155

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Владимир БЕРЯЗЕВ. «Полмира тащит на вожжах».** 171

Заметки на полях

- Константин КОМАРОВ. Трепет и трёп.**
О поэзии без поклонения, но с любовью. 176

Книжная полка

- Светлана МИХЕЕВА. Войско роз.** 181

Картинная галерея «Сибирских огней»

- Сергей МОСИЕНКО. Новосибирский плакат.** 185

Авторы номера 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Геннадий ПРАШКЕВИЧ

ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА

Из жизни птеродактилей

Р о м а н

*Известное известно немногим.
Аристотель*

Избыточный человек

«Не слышны в саду даже шорохи».

Сентябрь. Восьмое. Шестьдесят восьмой год.

Семнадцать градусов тепла. Хабаровск — солнечный город.

А где-то далеко в Праге — облачно. Сумеречно. Ветер. Валяются под ногами сбитые таблички с названиями улиц и площадей. Красной краской по стене: «Иван, уходи домой!» Тут же (черной): «Твоя Наташка найдет себе другого!» На дверях кафе: «Не по-чешски не говорит!» Это ничего. Это тоже временно. Товарищ Брежнев и товарищ Дубчек договорятся. Не по-чешски, так по-русски.

Не могут не договориться.

Вон и радио обещает победу.

А на сладкое есть известия: астрофизики открыли радиопульсары — совершенно новый тип звезд, а писатель Чингиз Айтматов получил Госпремию по литературе. Правда, моей Соне (она далеко) «Прощай, Гульсары!» не нравится, но не за бочкотару же, в конце концов, давать государственную.

Жалко, писем от Сони нет.

Зато я наконец в Хабаровске.

За окном плюс семнадцать, впереди три дня обсуждений.

Министерство путей сообщения собрало в Хабаровске лучших молодых литераторов Дальнего Востока — поговорить о будущем. Железные дороги — это наша мощь, это сила всей страны. Скорые, дальнего следования, почтовые и грузовые поезда — все идут через Хабаровск. Машинисты и помощники (в галунах, шевронах, в форменных фуражках), смазчики, стрелочники, сцепщики — у всех дела, заботы. Вот ради

них, ради их чтения и собрали в красивом городе на Амуре лучших молодых литераторов. Давно пора писать романы и повести, поэмы и стихи об этих кондукторах и проводниках, о смазчиках и сцепщиках, о ремонтниках и обходчиках путей, пусть увидят читатели их нелегкую жизнь! Правда, моя рукопись под названием «Гуманная педагогика» почему-то насторожила островную писательскую организацию (я прилетел в Хабаровск из Южно-Сахалинска), а Иван Белоусов, поэт-секретарь (темный костюм, твердая партийная закалка), даже спросил:

«Почему у вас, Пушкарёв, герой — карлик?»

«Из карликов вырастают великаны».

«И кто же поможет такому делу?»

«Литературная общественность».

«Ладно, езжай».

Конечно, поэт-секретарь лучше меня знал, что ждет на материке такого нетипичного героя, как мой карлик, но почему не попробовать? Пусть глянут на карлика авторитетные товарищи из Москвы и Хабаровска. В любом случае полезно. А рекомендуют рукопись...

Ну, до этого еще далеко.

А Комсомольская площадь, вот она.

И вон там, за Амуром, снежные вершины хребта Хехцир.

Конечно, я уже бывал в Хабаровске, но только проездом-пролетом.

Никого не знал в Хабаровске, но в наше время один не останешься, не заскучаешь. Не успел устроиться в номере гостиницы, как появился Ролик Суржиков — местный прозаик. Гостиница старая, в самом центре, номер узкий, высокий, а Ролик — длинный, породистый, сероглазый. Красивые недобрые губы, усы щеточкой. Ролик — та еще штучка. Платье светлый, модный, со стоячим воротничком, с поясом, с клапанами на карманах, Жан Габен обернется. И на семинар он представил не какую-то там, пусть и гуманную, педагогику, а повесть под названием «Бомба времени».

Из переписки с Роликом я знал, что пишет он о местных делах, но с пониманием, масштабно, и мечтает со временем перебраться в Ригу. Никто не спорит, в Хабаровске тоже часы идут, но здесь их заводят реже. Раз пять уже Ролик бывал в Риге и уезжал из города очарованный. Трудно ему без Домского собора, без уютных кафе, без чашки хорошего кофе. И свитер на Ролике однотонный, благородного европейского цвета, брюки заужены мастером. Не замахиваться же на «Бомбу времени» в мятом костюме из «Промтоваров».

«Я твою педагогику махом прочел».

Внимательно, даже изучающе осмотрел меня.

«Тебе, Левка, повезло. Обсуждают в последний день».

Я удивился: «Почему повезло, если в последний? В чем тут везение?»

«К концу семинара все устают, сил не остается на ругань».

Подумал и добавил: «Хунхуз тебя поддержит».

Подумал и добавил: «И Дед, наверно».



«Какой еще Дед?»

Он засмеялся и назвал известное имя.

«Знаю, знаю, — кивнул я. — Читал какую-то книжку. У букинистов купил».

И процитировал на память: «Осенний ясный день был похож на стих Овидия Назона». Так писали в начале века. Правда, Дед тогда и начинал писать. «В садах наливались полным пурпуром августа последние розы». Сейчас так не пишут. «Был тот полуденный час, когда приятно принять любовницу». Отдает парфюмом, тебе не кажется? Кстати, в книжке портрет был. Помню густые брови».

«Они и сейчас у него густые. — Недобрые губы Ролика дрогнули. — Дед тебе понравится. — Чувствовалось в голосе Ролика что-то не совсем понятное, осторожное. — К тому же к нам Чехов едет».

«Проездом на Сахалин?»

«Ты, Лева, свой островной юмор попридержи, хотя бы на время семинара. Понятно, что Дед — это авторитет и все такое прочее, но поддержку ищи у Чехова. Дед далек от наших тем, его не бомба времени интересует и не твоя гуманитарная педагогика, а церковный раскол семнадцатого века. Так что поддержку ищи у Чехова. И на Сенченко обрати внимание. У нее, у Ольги Юрьевны, колечко с камешком на пальце левой руки. Привыкла к тому, что на камешек никто внимания не обращает, а ты ее удиви, восхитись. От тебя не убудет. Ну и про Пуделя не забудь».

«Ольга Юрьевна на семинары ходит с собачкой?»

«Пудель — это куратор из крайкома».

«Отдел идеологии?»

«А в каком отделе сделаешь карьеру с такой фамилией? — Суржиков сдержанно рассмеялся. — Пудель как Пудель. Хороший рост, черный волос. Внимательный человек. За нами без присмотра никак. За нами глаз нужен, сам видишь, что в мире творится. — Конечно, Ролик имел в виду пражские события. — И с Людой Волковой не фамильярничай. У нее талия как у осы, зато зубы — как у Железного Человека. Таковую целуешь, а сам никак не можешь забыть о ее зубах».

Вряд ли Суржиков целовал неизвестную мне Люду Волкову, но чувствовалось, что и в этом деле он не дурак. Староста семинара все-таки. Про семинариста Козлова, например, сразу сообщил: «По паспорту он просто Козлов, а вот по жизни — Ха Ё-пинь. Прозвище по делу. Тихий, самоуверенный».

«И вот еще что, — увлекся Суржиков. — Обрати внимание на Игоря Кочергина. Он из Уссурийска. Среди поэтов лучший, надо поддержать парня. Одна книжка у него уже есть, выйдет вторая — прямой путь в Союз писателей. — Тонкие губы Суржикова ревниво дрогнули. — Он тебе понравится, он упертый. “Я называю кошку кошкой”, — процитировал он. — Понимаешь, о чем это? — Но объяснять не стал. — Достал всех своими поговорками. Только денег Игорю не давай. Он долги не возвращает и пить не умеет. “Вошли две дамы, обе девицы”. Ничего святого, даже над Достоевским издевается. И Хахлов — находка. Хра

фра бра. Он ни одну фразу не договаривает до конца, каждое слово будто надкусывает. Он из Благовещенска. И Пшонкин-Родин, тоже Коля, из Благовещенска. Впрочем, нет, из Благовещенска у нас, кажется, Коля Ниточкин. Этот утверждает, что знает целых шесть языков, правда, все они — мертвые, не с кем Коле поговорить».

«А он бы поговорил?»

«Без проблем. Он любого задавит вопросами. На любом языке. И кстати, Коля больше всех радуется, что к нам Чехов едет. Он всех одноклассников считает одним человеком, про элевацию любит поговорить. Не знаешь, что такое элевация? — как-то слишком уж демонстративно удивился Ролик моему незнанию. — Это высокий порог чувствительности гипоталамуса к гуморальным сигналам. Дошло? Ну вот. А подробности у Ниточкина. Ты его сразу узнаешь, по улыбке и прическе, глупость молодит. “Он даже хаживал один на паука”. Хаживал не хаживал, а узнаешь. Так же как и Пшонкина-Родина. “Песнь о Роланде” знаешь, кто сочинил? — неожиданно спросил Суржикив и сам ответил: — Точно не Пшонкин-Родин!»

«Еще участвует в семинаре Нина Рожкова, — продолжил он. — Тоже в глаза бросается. Пастернака не читала, Тарковского не читала, Цветаеву читать не может. “Чтоб я тебя вымалывал у каждого плетня”. Наткнись Нина на такую строку, слез не оберешься, глаза у нее на мокром месте. Говорит, что физиологически не может читать хороших поэтов, у нее сразу тоска на сердце. Дескать, почему она не так пишет. Всегда ходит в цветастых цыганских платьях, только у нее это не стиль, а обыкновенный сбой вкуса и отсутствие нужных средств. — Ролик окончательно проникся ко мне доверием. — Отдай Нину Одиссею, он ее не возьмет. Она своим плачем распугает всех его греческих придурковатых сирен».

И добавил: «Еще Стах приехал».

Я кивнул: «Редкое имя».

«Это фамилия».

Суржикив помолчал, прикинул про себя что-то.

«Вот еще об Игоре, который Кочергин. Он палубный матрос, ходил по Охотскому, учится в Москве в Литинституте. Запомни, никаких ему денег. Ни копейки. Враз пропьет и о долге забудет. “Я называю кошку кошкой!” Пусть называет, пока не дали по лапам. Привык смотреть на поэзию как на водопой. Не то что Леня Виноградский. Леня умный, не пьет, очки носит. И Леванович очки носит. Поэты нам не конкуренты. — Недобрые губы Ролика дрогнули. — Мог бы Леша Невьянов поспорить за первое место, но слишком подражает Деду. Это не приветствуется. Пишет не романы, а исторические повествования. Не скажу, конечно, что Леша неудачник, но “Анну Каренину” перечитывал раз пять, чтобы понять, почему эта баба под поезд бросилась».

И наконец предложил: «Идем в бар!»

И мы пошли.

И оказались в «Дальнем Востоке».

Собственно, «Дальний Восток» — это ресторан, а при нем бар.

Несколько столиков, в основном пустые, только за одним у окна — массивный человек в темном костюме, при ноге — тяжелая трость. Набалдашник, кажется, из слоновой кости. Во всем (и в человеке, и в палке) некая избыточность. При этом избыточность не в весе, не в стиле, а в уверенности. У таких место всегда лучшее. Вертикальная морщинка между густыми бровями, как барранкос на склонах старого вулкана — промоины и овраги, в общем, не украшающие лицо, но и не портящие. Русский нос, щеточка усов. С уголков четких губ ниспадают две тонкие морщины, в нагрудном кармашке темного пиджака — перьевая авторучка.

«Дед?» — догадался я.

Ролик удовлетворенно кивнул.

«А рядом кто?»

«Хунхуз».

«В каком смысле?»

«Прозаик. Прозвали так».

Хунхуз, даже бритый наголо, рядом с Дедом не очень смотрелся.

В юности (рассказал Ролик, когда мы устроились за столиком в стороне) Хунхуз валил деревья на какой-то пограничной реке, а в свободное время чернильным карандашом записывал в растрепанную амбарную книгу эпизоды своей будущей повести «На далеком кордоне». Правда, он тогда даже не знал, что пишет именно повесть, жанр создаваемого им произведения с некоторыми затруднениями определили позже, уже в редакции толстого хабаровского журнала, в котором Хунхуз сейчас и работает. Герой повести — молодой инженер (глаза острые, мыслит решительно) — раскрыл на каком-то гидролизном заводе банду вредителей. Такое время было, что кругом одни вредители. Завод был небольшой, но оборонного значения: выпускал исключительно сухой спирт в таблетках. Для армии удобно. И согреться, и никакого баловства. Так что, подвел Ролик итог сказанному, твою «педагогику» будет оценивать и такой сложный человек.

«Ну а третий, сам понимаешь, — Пудель».

Спокойный, неулыбчивый. Наверное, понимающий. Вот сидит, а все равно видно — он большого роста. Волос, да, черный. Из нагрудного кармашка, как и у Деда, торчат авторучки, сразу две. (Запасливые в Хабаровске писатели, отметил я про себя.) Что еще: темный аккуратный костюм, неброский галстук. Улыбка — сдержанная, жесты — обдуманые, ничего лишнего.

Больше всех заинтересовал меня Дед.

Я вспомнил, что, кроме повести про тот самый «полуденный час, когда приятно принять любовницу», я читал еще одну книжку Деда — историческую, про императрицу Елизавету. Вот ведь царствовала! Никакого у нее специального образования, а царствовала!

«Трон золотой, бриллианты на башмаках, — Ролик тоже завелся. — Дед любит избыточность. Вельможи у него один к одному — красавцы, умеют служить, умеют нравиться. Отличился: вот тебе тыщонка крепостных душ, а к душам — червонцы, а к червонцам — собольи шубы, а к



собольим шубам — золотые табакерки. Дядя Людвиг, дядя Брюммер, барон Корф, граф Шембелен-Бирндорф — все в романе Деда свои, все как родные. Герцогини спят под чудными штофными одеялами, под балдахинами, вывезенными, кажется, еще из Цербства. Пусть в облезлой позолоте, но парят над ними амурсы в розовых веночках. Дед знает, о чем пишет. Когда на глазах маленького Хунхуза япсы (японцы) утопили его отца в проруби, Дед находился в Харбине, в этом пыльном русско-маньчжурском городе. Там, в Китае, и провел почти треть своей жизни. Будем считать, на пользу. Многое понял, тогда как другие эмигранты, бывшие белые, вели там жизнь обычных млекопитающих. — Ролик усмехнулся. — Дед не Коля Ниточкин, он говорит на живых языках, при этом — на многих. В Китае на живом китайском общался. Ты, наверное, — заподозрил Ролик, — Китай представляешь неким доисторическим деревом с листьями, похожими на вырезанные из картона сердечки, и вокруг по берегам Янцзы глупые рыбы бегают...»

Посмотрел на меня.

«А Китай не такой. В Китае уже атомную бомбу сделали».

В этот самый момент в бар ввалилась шумная группа семинаристов.

Среди них я Люду Волкову сразу опознал. Оса не оса, а зубы железные.

Не все, конечно, но этого и не надо. Скорее, овца железнозубая в кудряшках и в стихах. «Одуванчик придорожный был, как солнце, золотым, но отцвел и стал похожим на пушистый светлый дым». Все цветочки у Волковой — не тернии, не волчцы, не дикий сафлор, даже не вредители-васильки. Все цветы у нее — для радости. Если листья, то нежные, если стебли, то упругие, без ядовитых шипов, не мордовник, не расторопша какая-нибудь пятнистая.

Разглядывая Люду, я не забывал время от времени посматривать в сторону Деда, любовался, какой он большой, избыточный, сколько в нем скрытого барского, и при этом какая-то уж очень прямая (офицерская) спина. «Понять конфуцианство? — долетал до нас голос Деда. — Представьте, Дмитрий Николаевич, в автобусе у вас украли портмоне, а другой пассажир все видел. Не знаю, как поступили бы вы, а вот настоящий конфуцианец, Дмитрий Николаевич, когда б ему портмоне вернули, каждому бы дал по монетке. И тому, кто портмоне украл, потому что бедняга явно бедствует, и тому, кто указал на виновного...»

Хунхуз, Дед и черный Пудель пили коньяк. Мы — вино болгарское.

Коле Ниточкину, недавнему школьнику, заказали просто кофе с молоком.

Коля (аккуратный, улыбчивый) назвал нас пещерными чувачками. И все спрашивал. Это правда, что Дед когда-то служил у адмирала Колчака? Это правда, что Дед встречался с генералиссимусом Чан Кайши? Колю распирала такие вопросы, он весь кипел. Это правда, что Дед был знаком с Пу И, императором Маньчжурии? А еще говорят (Коля был в курсе самых разнообразных слухов), что в Харбине у Деда на столе



жила обезьянка величиной с человеческий большой палец. Ну вот как мой, показал Коля свой большой (впрочем, не такой уж и большой) палец. Обезьянка та страшно любила запах туши. Даже спала в стаканчике для кистей. А как услышит, что растирают пестиком сухую тушь, тут же выскакивала.

Вопросов у Коли были много.

К счастью, подошел Леша Невьянов.

Худой, длинный, в мятом сером пиджаке, поцеловал (видно, что давно знакомы) Волкову в железные зубы, а нам протянул руку — вялую, прохладную. Почему он печалится? Да так, потерял деньги. Сегодня потерял? Нет, нет, обрадовал он нас, не сегодня, а перед отъездом, дома еще. Сто рублей одной бумажкой. Такими купюрами он обычно не пользуется, но так случилось.

«А я, наоборот, однажды нашел сто рублей, тоже одной бумажкой».

«Эх, если бы я такую нашел, — расстроился Леша, глядя на улыбающегося счастливицу Ролика, — я бы на всю сотню всего накопил. Даже того, чего никогда не покупаю».

«А я прогулял найденное», — беспощадно признался Суржиков.

«Да ну! — не поверил Ниточкин. — Всю сотню? Лучше бы поделился с Лешей».

Кофе с молоком странно подействовал на Ниточкина. Поглядывая издали на Деда, понизил голос. А это правда, спросил, что будто бы вывез из Китая настоящего профессора-партийца, побывавшего в Шамбале?

Никто поднятую тему не поддержал, но у Коли и другие были.

«Это правда, что того профессора-партийца в Китай послал еще Лев Троцкий, а Деду о профессоре сообщил художник Рерих? Профессор из Шамбалы вроде бы собирался махнуть к япсам, вроде как нравилось ему в Японии, но Дед уговорил вернуться в Москву».

О дальнейших приключениях профессора-партийца мы ничего не узнали.

На сложном Колином вопросе, можно ли простому случайному путешественнику получить гражданство Шамбалы, к столику подошел Игорь Кочергин. Совершенно трезвый, зря Ролик нас пугал. Посмотрел на чашки.

«В такое время...»

Непонятно, к чему сказал.

И тут же, никого не спрашивая, допил кофе Ниточкина.

Объяснил: «Всю ночь писал хорошие стихи».

«А вы только хорошие стихи пишете?» — не поверила Волкова.

«Только хорошие», — подтвердил Игорь.

Ворот рубашки расстегнут, видна тельняшка.

Почувствовав наш интерес, отставил пустую чашку.

В Москве, в Литинституте, рассказал, ему, простому палубному матросу, здорово повезло: попал в семинар поэта Твардовского. «Не про-

жить, как без махорки, от бомбежки до другой без хорошей поговорки или присказки какой». У знаменитого поэта Игорь занимался с интересом, но в аудитории устраивался подальше от классика, взгляд его не нравился Игорю.

Однажды услышал:

«Студент Кочергин».

«Что, Александр Трифоновч?»

«Почему вы приходите на мои занятия в таком драном свитере и штаны у вас сваялись, как шерсть баранья?»

«Других нет, Александр Трифоновч».

«Откуда вы приехали?»

«С Сахалина».

Классик задумался, думал долго (может, что-то подсчитывал), потом двумя пальцами полез во внутренний карман своего аккуратного, сшитого по плечам пиджака и вытащил, не считая, несколько крупных купюр.

«Студент Кочергин, купите себе что-нибудь попримичнее».

«Но я в этом году не смогу отдать вам долг».

Игорь, конечно, и в ближайшие пять лет не мог бы вернуть такие деньги, но все же сказал о годе. Впрочем, Твардовский и не настаивал.

«Издадите книгу, расплатитесь».

Это совсем другое дело. Игорь верил в свое будущее.

В тот же день купил он себе свитер, вполне приличный, самый дешевый, а остальные купюры (про штаны забыл) пропил с приятелями — жадными московскими молодыми поэтами. О долге забыл, конечно, но так получилось, что в следующем году, действительно, вышла у него первая (и пока единственная) книжка. Получив гонорар, Игорь вел своих приятелей в «конюшню» в конце улицы Горького и вдруг лицом к лицу столкнулся с классиком.

Сердце взыграло.

«Александр Трифоновч!»

Твардовский остановился. «Испугался, наверное, что ты все-таки еще и на штаны попросишь?» — умно догадался Коля Ниточкин. Но на деле все оказалось сложнее.

«Александр Трифоновч, я долг вам хочу вернуть».

Московские поэты насторожились, но Игорь уже потерял контроль над собой.

Небрежно (вот кураж уже не палубного матроса, а печатаемого в Москве поэта) Игорь сунул два пальца в карман (запомнил жест классика) и извлек купюры. Опыт, правда, не тот. Пальцами (как классик) не умел считать, извлек больше, чем рассчитывал. Сколько купюр ухватилось, столько и извлек. А почти все ухватилось. Вся компания, затаив дыхание, жадно и неприязненно следила за тем, как классик Твардовский равнодушно (и, разумеется, не считая) сунул протянутые деньги

в свой

нагрудный

карман

и последовал дальше!

«С ума спрыгнул!» — пришли в себя приятели Игоря.

На это студент (поэт) Игорь Кочергин только криво усмехнулся, дескать, чего уж теперь, дело сделано, на пиво скинемся.

«Мудак! Ты же ему весь гонорар отдал!»

И в этот момент раздался голос классика: «Студент Кочергин!»

Игорь живо обернулся.

«Да, Александр Трифонович».

«Студент Кочергин. — Твардовский терпеливо дождался, когда Игорь к нему приблизится. — Если в будущем вам посчастливится преподавать в нашем институте и на ваших занятиях будет появляться студент в таком драном и свалывшемся свитере, какой вы носили, отдайте ему эти деньги».

И полез в карман.

И, не считая, извлек купюры.

И, кстати, гораздо больше, чем ему только что передал Игорь.

«Врешь!» — выдохнул Невьянов. Он не верил в счастливую литературную жизнь.

«Игорь правду говорит», — ласково оценила Волкова.

И сам Игорь подтвердил, дескать, он называет кошку кошкой.

Я весь этот разговор слушал вполуха. Издали присматривался к Деду.

Вот ведь, правда, какой избыточный человек, — как темный (но заснеженный) Хехцир, возвышается над Пуделем и Хунхузом. Такому гражданство могут предложить и в Шамбале. Я даже откинулся на спинку стула. Радовался, не зря прилетел в Хабаровск. Цель ясна — добиться успеха, издать книгу. В конце концов, «Гуманная педагогика» — это не просто какие-то свободные экзерсисы, это моя будущая свобода.

Относительная, конечно, но с деталями — потом.

Пока же прислушивался к семинаристам, прикидывал свои шансы.

Суржиков был уверен, что мы с ним пройдем. Звучит обнадеживающе, но «мы» меня настораживало. Откуда, почему вдруг множественное число? Могут рекомендовать сразу две книги? А Боливар двоих снесет? А Дед как относится к юмору? Известно, не выносит ни Гоголя, ни Салтыкова-Щедрина. За их насмешки над родиной. Все эти Собакевичи, Ноздревы, Плюшкины, премудрые пескари, глуповцы, да сколько можно? Даже дороги у Гоголя пятаются, как раки. Каждая копейка ребром, каждое слово завитком. У Гоголя редкая птица долетает до середины Днепра, а ей туда надо? А Салтыков-Щедрин? «При не весьма обширном уме был косноязычен». Дунька с раската... Вторая Дунька с раската... «Говорят, в Англии выплыла рыба, которая сказала два слова на таком странном языке, что ученые уже три года стараются определить и еще до сих пор ничего не открыли».

Ладно, подвел итог Суржиков.

Хватит. До завтра!

Беженская поэма

Массивный, черные брюки, коричневая рубашка навывпуск.

Соседка зашла — попросить взаймы — и со скрытым ужасом уставилась на седеющие колючие усы Деда: вот они сидят под носом, как бабочка, не дай бог, вспорхнут, Марье Ивановне насторожиться бы.

Но Марья Ивановна сидела за столом молча.

Она явно тяготилась визитом. Здравствуйте, конечно.

А Дед спрашивал. Как сын? Когда перебирается на улицу Калараша? Ему все было интересно. Улица Калараша — это Первый микрорайон, не так далеко. Там панельные пятиэтажки? А чего же? Новое слово. Ну и что, выкрашены в желтое и розовое? Из коммуналки в отдельную квартиру, ведь раньше только мечтали...

Соседка кивала.

Она вообще-то на минутку.

Она очередь заняла в «Продуктах».

Там вдруг выбросили в продажу уксус и тушенку «Китайская стена», правда, в довесок — нитяная сетка. Соседка наконец оживилась. В очереди говорят, что в «Продуктах» ждут корейские лимоны. Витамины как-никак. А из Черниговской области — яблоки, от киргизов — лук. Жизнь налаживается. Не в ресторан же нам ходить.

Дед кивал.

В самом деле.

Выбор есть — «Дальний Восток», «Север», «Уссури», «Амур», кафе-ресторан «Березка» на площади Блюхера, «Поплавок» на левом берегу, только где денежки взять? Да и не пустят в ватнике в ресторан. Это в столовую — пожалуйста. В столовой щи на мясном бульоне — восемнадцать копеек с рыла, хек жареный с картофельным пюре — только на копейку дороже. А в том же ресторане борщ — тридцать четыре, селедка с луком — восемнадцать. Не для нее.

Знал, муж соседки — инвалид войны.

Знал, беспокойный. Не то чтобы пьет, скорее — не просыхает.

Отсюда долги. Отсюда скудный стол. А ведь каждому хочется. «Чтобы в комнате... даже за чашкой грузинского чая... пахло Фетом и не раз долимым самоваром...»

Соседка на такие слова Деда только моргала.

Она о стихах знать понятия не имела, ей бы найти нужную сумму. Она отдаст. Марья Ивановна знает, что я отдам.

«Пиши расписку».

И объяснил (без улыбки).

«Без расписки никак нельзя. Я-то — ладно, а Марья Ивановна волнуется. Вдруг умру ненароком, как долги взыскивать?»

Соседка с надеждой смотрела на Деда.

Нет, здоров черт. Не умрет. Не дождешься. А Марья, она что? Это Дед (мир слухами полнится) склонен к ухажерству. В его-то лета. Свою жену называет (сама слышала) «раковинка моей души». Это додуматься





надо — раковинка. На отливе, что ли, ее нашел? Мучаясь, неверной рукой написала расписку.

Дед принял не глядя.

«Ну, ступай».

Марья Ивановна закрыла за гостьей дверь.

«Позоришь меня. Какая расписка с Любаши?»

И указала на стол. «Вон, читай. Сколько рукописей принесли».

Дед довольно наклонил голову. Расписка — это расписка. Мы с тобой, Маша, — отставленные. От дел отставленные, и давно. Значит, можно нам позабавиться. Долго терпишь, веселей играешь. Прекрасно знал, Маше тоже жилось с трудностями. Даже подружки по работе (краевая научная библиотека) в первое время указывали своей директорше: «Замуж за эмигранта! Ты что? Он же бывший пропагандист, бело-подкладочник!»

При этом завидовали. Вон Машку на денежки потянуло.

Это у него-то денежки? Какие денежки? Радиокомитет не щедр.

Первый год (после возвращения из Китая) на собраниях в писательской организации рядом с Дедом никто не садился. Присматривались. Бывший эмигрант, а держится по-хозяйски. Сочувствовали Марье Ивановне. После смерти мужа из каких-то Кочек (село такое в Ойротии) приехала в Хабаровск (или направили ее, все едино). Только жизнь начала устраиваться, тут этот. Посмеивается: «Маша с Кочек». А у Марьи Ивановны за спиной — школа, курсы, опять школа, опять курсы, библиотека. Библиограф, потом завотделом, наконец, директор — вышла в люди. К слухам о Деде, конечно, прислушивалась. Но ведь определили человеку свободное проживание в Хабаровске, значит, ничего особенного нет за ним, руки у него не по локоть в крови, как пишут о некоторых. Все мы так или иначе отставлены от дел.

Полковник госбезопасности Анатолий Андреевич Барянов, опекавший Деда после возвращения, вполне одобрительно отнесся к тому, что бывший белоэмигрант ушел с головой в творчество. Пишет, просиживает дни в библиотеке. Работает над рукописью с интересным названием «Китай и его 24 революции». Неужели двадцать четыре? Откуда столько? Удивлялся, но ничего не советовал. Хочется писать — пиши. Ждал с интересом, что получится, тем более Дед от сложных вопросов не увиливал. «Тебе немножко бы ленинского понимания, бесценный получился бы писатель», — радовался Барянов. Не прятал свои крупные желтые чекистские зубы, в литературе разбирался. По крайней мере, старика Каренина в известном романе считал полковник Барянов единственным положительным героем. И за праздничным столом в гостях пел то, что все пели.

«Мой миленок-мармулёнок, он, наверное, селькор. Три буквы, мерзавец, исписал мне весь забор».

Народ поет, душа требует.

Дед вживался в новую жизнь.

Главное сделано: вернулся. А вот куда?



Приглядывался, присматривался, что делают, чем живут люди. Спокойно вслушивался. В родном языке — как в свежем воздухе. Никаких хитростей, понимаешь где-то на животном уровне, как и надо. Вот вода — ее пьют. Вот картошка — ее сажают. Созрела, копают — скопом. Комары, мошкара — это ничего, на это мы управу найдем. Это дикие волки, мимо поля пробегая, пусть дивятся, зачем люди морды свои под густой сеткой прячут.

Красные ягоды, как кровь.

Жил в комнате — в облупленном здании бывшей гостиницы «Русь».

Тесно, не сильно развернешься, все равно не камера, в любую погоду можно окно распахнуть, по рукам не бьют. Полковник Барянов правильно рассуждал. Раз уж ты вернулся, раз уж разрешили тебе, значит, приноси пользу. Разве не ради этого вернулся? За кордоном, ну, там якшался со всяким белым отребьем, теперь думай, осмысливай, рассказывай. Вслух — для народа. Меньших масштабов полковник не признавал.

Стиль ищешь?

Зачем эти хитрости?

Русский язык — сам по себе стиль.

«Начистить репу двум перцам» — такое непонятно разве что заграничным придуркам. «Настучать по тыкве одному хрену» — такое тоже только до дурака не дойдет. Чего неясного? По тыкве! Одному хрену! Хрустальной чистоты понятия. В Китае речь у русских людей быстро обесцвечивалась. В Китае вполне можно было обходиться десятком нужных слов. Не Деду, конечно, с его многими языками. Но даже он в Китае обрастал мутными обыденными словечками. И все равно вернулся! Очищайся! Вбирай потерянное богатство, книги кругом!

Тысячи полок книг.

«В родном ауле». «В родном городе». «В почтовом вагоне». «В пургу камчатскую». «На заре». «В осенние дни». «Заре навстречу». «На Севере дальнем». «Белая береза». «Северное сияние». «Далеко от Москвы».

Видишь, как просто?

«Гость из тайги». «Солнце над рекой Сангань». «Горячие сердца». «Горянка». «Печник с “Челюскина”». «Быстроногий олень». «Красная рубашка». «Алые зори». «Красная стрела». «Красное лето». «Красная птица». «Красные зори». «Красные дьяволята».

Чем плохо? Цвет привычный.

«Солнце Ленинграда». Нисколько не скучно. «Солнце на парусах». И с севера, и с востока мы океаном окружены. «На закате». А ты и это понимай правильно. Вот другая книга есть: «Встречь солнцу». Придет время, художники палитру расцветят шире, а пока что же. Ищем. Строим. Полковник Барянов дружески советовал: «Ты прислушивайся к Марье Ивановне, она по заграницам не отсиживалась».

Дед посмеивался: «Маша с Кочек?» — но прислушивался.

Марья Ивановна — человек заметный, руководила краевой научной библиотекой, член партии. Одинока, да. Но в этом что особенного?



После такой большой войны одиночеством никого не удивишь. Правда, Марью Ивановну часто стали вызывать в крайком. «Как дела? Подумали?»

Кивала.

Все думают.

И она думает тоже.

«Марья Ивановна, — деликатно подсказывал Первый (вот на каком уровне разговор шел). — Не дело вам сблизиться... Ну, вы понимаете, о ком я... (Понимаю, понимаю, покальвало у нее под сердцем.) — Все рядом живем, должны понимать... Пусть бывший, но ведь эмигрант...»

«Мы с ним не о политике разговариваем».

«Об этом догадываюсь», — понимающе кивал Первый.

А Дмитрий Николаевич Пудель (пожилой, понимающий брюнет из отдела идеологии), обычно присутствовавший при таких встречах, доверительно добавлял: «Мы вам, Марья Ивановна, не претензии высказываем. Мы не укоряем, не указываем, знаем, что вы человек опытный. — Это он намекал на ее прошлое. — Просто просачиваются, сами знаете, ох, просачиваются слухи. О том о сем. Чаще всего о том. — Удрученно поджимал губы. — Люди справедливости ищут. Так уж устроены. Интересует людей, почему одни бывшие белоэмигранты трудятся на дальних лесоповалах, а другие лекции читают на радио».

«Лекции на Китай. Такое не каждый может».

«Потому и не давим на вас, — мягко снимал Первый постоянно возникающие неловкости. — Просто советуем. Как товарищи по партии. Никто не спорит, окончательный выбор исключительно за вами. Но работу, если что... ну, в случае совсем неверного решения... тогда работу вам придется оставить... Тут иначе быть не может... Директор краевой научной библиотеки, это, сами знаете, не пунктом приема посуды заведовать... — Деликатно постукивал короткими пальцами по столу. — Билет на стол выложите...»

Она и выложила.

И вернулась в отдел библиографии.

Что ж, что отставленная. Живая, разве этого мало?

А Дед себя не считал отставленным. Он вернулся в родной язык. Может, ради этого и жил. Вот гуляет по набережной, любит снежным Хехциром (со своей стороны, с русской), прислушивается к прохожим.

Иногда вспоминал Валериана Верховского (Харбин).

Будто из Нового Завета человек вышел, из благовествования от Луки.

Кстати, похож на Луку. Вылитый евангелист — в варианте Эль Греко. Длинное лицо, черная борода, волосы с падающей на лоб прядью. Апостол от семидесяти, сподвижник самого Павла. Правда, истинный Лука врачевал, а бывший штабс-капитан Верховской сотрудничал в Осведверхе (Осведомительное управление Верховного). В разговоре поптичь медлительно наклонял голову: «Не верь тем, кто потерял много». Потом наклонял голову в другую сторону.



«Не верь тем, кто вообще ничего не потерял».

Крылатый телец, держащий Евангелие.

Глаза круглые. Черные. Как ночь или бездна.

Что чувствуешь, когда на тебя смотрит ночь или бездна?

«Чем больше Пожарских, тем меньше Мининых». Над словами Валериана Верховского Дед не раз задумывался. В сущности, неважно, кто смотрит на тебя — ночь или бездна, но это тревожит. Это беспокоит. Это гнетет.

Впрочем, на все вопросы о будущем Валериан отвечал одинаково.

«Читайте мои некрологи».

Такой вот был собеседник.

Крепче херувима с пламенным мечом.

Крепче всех этих кожаных револьверных комиссаров.

«Много пало убитых, так как от Бога было сражение...» — начинался некролог Верховского «Памяти полковника Домового».

Да, Домовой. Модест Аркадьевич.

Из-под Сызрани. Под ружьем — добровольцы. Их так и прозвали — домовые.

Домовые полковника Домового. Это звучало. Революция всех лишила поместий, усадеб, чинов, дел. Почему же не воевать? Никто награбленного просто так не вернет, ничем украденным не поделится. Полковнику Домовому подначальные верили больше, чем себе. Говорили, что Домовой красив как бог. Преувеличение, конечно, да и говорили, возможно, только богохульники, но таких было много. Да, ростом полковник Домовой метра полтора с небольшим, ну и что? Себя доказал с первых дней войны. В сентябре четырнадцатого в тяжелых наступательных боях при Гумбиннене (Восточная Пруссия) трижды был ранен, трижды возвращался в строй. В черновике Верховского его рукой была вычеркнута строка: «Трижды был смертельно ранен, трижды возвращался в строй».

Видимо, и такое предполагалось.

«В армию адмирала Колчака влился со своими добровольцами в восемнадцатом. Большевиков победил тем, что пал за победу».

Победил?

Но ведь пал!

Да и не пал. Дед знал это.

Он, Домовой, в Шанхае сочиняет мемуары.

Вот потому и пал. Не спорьте с евангелистом.

Читал Дед некролог и на генерал-лейтенанта Кедрина Владимира Ивановича, смертью храбрых... под Красноярском... Сдержанно удивлялся: «Неделю назад провел вечер с Владимиром Ивановичем».

«Этот тоже занят мемуарами?»

«Не решусь оспаривать».

«Вот я и пишу — пал».

Много было удивительных некрологов.

Кто-то оплачивал работу бывшего сотрудника Осведверха, ценил его необычные таланты. Да и понятно. Все мы живем ради недостоверного



прошлого. Время пройдет, память рассеется, а некрологи останутся. Будут знать об Анатолии Николаевиче Пепеляеве не по отчетам генштаба, а о генерал-майоре Плешкове Михаиле Михайловиче не по документам Директории. И о генерал-лейтенанте Сахарове, и об атамане Семенове, и о контр-адмирале Старке, и о других, несть им числа, найдутся достоверные воспоминания (того же полковника Домового), а главное — некрологи.

Как не верить некрологам?

Это и есть история.

Дед с уважением помнил о Верховском.

Даже в Северной стране (вернувшись) помнил.

Однажды и сам решил написать. Правда, не воспоминания.

Письмо. Обыкновенное письмо. Но не в крайком, где решали партийную судьбу Марьи Ивановны, а сразу в далекую Москву.

Для ЦК хабаровский Первый не указ.

Нельзя же видеть в людях только несовершенство.

Казалось бы, кто будет вчитываться в ЦК в письмо бывшего эмигранта, бывшего сотрудника Русского бюро печати, подчинявшегося напрямую белому адмиралу. Но в Москве (он верно вычислил) срабатывали какие-то другие, не всегда на местах понятные соображения, так что пришлось крайкому (тотальное, всеобщее недоумение) выделить отставленным «молодым» хорошую отдельную квартиру — вместо однокомнатной служебной, отобранной у Марьи Ивановны вместе с партбилетом.

Отдельная квартира!

Кстати, ее и проверять проще, чем коммуналку.

Теперь Первый точно знал, что над диваном в кабинете Деда развернуто на стене не колчаковское знамя (как болтали в городе), а приклеена обычная журнальная репродукция известной картины «Меншиков в Березове».

«Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его».

Первый внимательно вчитывался в дневник Деда, постоянно предъявляемый ему (в копиях, конечно) сотрудниками Особого отдела.

«Луна безумствует в зеленом, а на земле, как встарь, висит над крышею с драконом рубиновый фонарь».

Стишки. Складные.

Вклеена между страниц раскрашенная, ничем не примечательная открытка.

На открытке мальчик и девочка сидят на стуле, прижались, смущенно опустили глаза, в руках, конечно, цветы.

Дед свой дневник не прятал.

Этот его дневник всегда лежал на столе рядом с ветхой рукописной псалтырью (шестнадцатый век). Псалтырь, кстати, лежала по делу: Дед в ту пору работал над большим историческим повествованием.

Вчитываться интересно.

«Вчера лопнуло все в Париже».

Это (догадывался Первый) вчера в Париже нарком Молотов отказался участвовать в осуществлении плана Маршалла.

Тут же карандашные наброски далеких гор.

Тут же газетные вырезки. Из «Правды», например.

Известный писатель Ал. Фадеев выступает против низкопоклонства.

Актуально, важно. Дмитрий Николаевич Пудель, передавая Первому выписки из дневников Деда, самое важное легонько подчеркивал — простым карандашиком, самой тоненькой линией, но всегда отчетливо. Прекрасно понимал, что нажим в таком тонком деле вреден.

«До чего же пустынна наша история, — вчитывался в подчеркнутое Первый. — Как мало в ней личностей, гордых профилей. Как мало в ней выработанных рассказов. Это не пантеоны, не толпы мраморных, бронзовых статуй Рима, Греции, это не корабли, конквистадоры Европы, не отдельные мученики — Дж. Бруно или Гус, сгоревшие на кострах. Нет, это бескрайние поля, это бескрайние человеческие толпы. Это — сила в армии, в труде массовом».

Первый деловито вникал.

Знал, Дед все равно проговорится.

Пусть не сразу, но проговорится, по-другому не бывает.

«Сретение. Чудная погода. Ночью — план романа. Яркое весеннее утро над Амуром, даль etc. Колокольный широкий звон, раздолье, сила. Кремлевский бой — часы. Старая женщина проснулась. Ощущение силы, бодрости, свежести накачивается в нее. Встает. На ней семья — хлопотливая, разнообразная. Всё в движении. Учатся внуки, старший сын вернулся с фронта. Вот она идет, жизнь, — такая, как следует. Веселье, радость при осуществляемом социализме».

И приложен черновик письма.

Письмо (Пуделем помечено) отправлено в Москву.

Отправлено в ноябре пятьдесят четвертого года — на адрес все того же писателя Ал. Фадеева, кстати, не просто известного писателя, а генерального секретаря Союза советских писателей.

«Уважаемый Александр Александрович!

Пятое утро подряд сижу на диване и слушаю передачи хабаровского радио, в которых идут отрывки из Вашего романа “Черная металлургия”. Наконец написано то, что нужно. Наконец изображено, что социализм реально существует, а не только идет за него борьба, что социализм вошел в быт, что русский народ живет по-новому, что он свободен, растет, дышит. Слушая эти передачи, вижу воочию, как живет наша новая страна, которая стоит ведущим журавлем в четком косяке мира.

(“Стоит ведущим журавлем” — эти слова были Пуделем легонько подчеркнуты.)

Уважаемый Александр Александрович, Ваш роман означает возникновение новой, давно ожидавшейся плодоносной советской литературы. Есть голос, на который теперь нужно идти. Вы удивительно точны во всем, начиная с заглавия. “Черная металлургия”. Это художественно!



Это умно, как в музыке. Это бесспорный социалистический реализм. Поэтому еще раз хочется отметить Вашу абсолютную мастерскую меткость. “Разгром”, “Молодая гвардия”, “Черная металлургия” — это целых три точных выстрела прямо в яблочко. Вы не позволяете себе роскоши литературно щеголять. Все у вас собранно, нужно, а стало быть, верно. Эти Ваши литературные вещи — как три водораздела советской литературы, как три семечка, принесших и приносящих богатые литературные урожаи. Это свидетельство того, что подъем новой жизни идет полным махом в самых недрах нашего народа...»

Первый удовлетворенно наклонял голову.

Вот пишет бывший эмигрант, а пишет верно.

Вот пишет бывший сотрудник бывшего Бюро печати, пишет не давно уже расстрелянному Верховному, а убежденному, много раз проверенному идейному коммунисту.

Кстати, Пудель Дмитрий Николаевич сдружился с Дедом.

Нередко и запросто заходил в гости. Марья Ивановна заваривала чай.

Не какая-то Маша с Кочек, а уважаемая Марья Ивановна. Неторопливо и понимающе говорили о погоде. Дмитрий Николаевич посмеивался, Марья Ивановна иногда поджимала губы, с некоторым запозданием выходил из кабинета (работал) Дед.

«Маша, а водочку?»

«Это надо ли днем-то?»

Весело указывал: «Гость у нас».

Спрашивал: «Не против, Дмитрий Николаевич?»

А чему тут противиться? Не коммуналка. Не помешаем.

До письма в ЦК (точнее, до отдельной квартиры) обитали в коммуналке.

Ничего страшного, многие так жили. Среди живых людей. Длинный коридор, деревянные лари с навешенными на клямки замками, хмурые запахи из общей кухни, всякий хлам, мешки. Иногда появлялся почтальон, передавал письмо. Пояснял: «К нам поступило в поврежденном виде».

А то!

Понимаем.

Однажды пьяный сосед вызверился.

Сперва бахвалился: «Вот жизнь налаживается, твою мать! Вот как жизнь налаживается! На Урицкого-то открыли новую лавку, там чего только нет. И штуки мануфактуры. — Сосед пьяно-криво, но на удивление легко выговаривал сложные слова. — И хромовые сапоги, и гармоника. В продуктовом отделе — бочка с жирной селедкой, загорбок у каждой что у нашего бригадира».

Вдруг обнаружил на кухне посмеивающегося Деда.

«А ты чего лыбишься? Тебя-то с какого лесоповала турнули?»

Дед ответил: «С шанхайского».

Сосед не понял, выпучил водянистые глаза.

К счастью, выглянул из своей комнатухи еще один сосед, на вид совсем непотребный. Всегда хотел чего-то, да хотя бы и драки. Выглянула Марья Ивановна. Вместе замяли, утишили скандал. Потом (уже в своей комнатухе) Дед для утешения читал Маше стихи Апухтина.

«Безмесячная ночь дышала негой кроткой, усталый я лежал на скошенной траве. Мне снилась девушка с ленивою походкой, с венком из васильков на юной голове...»

Бывшая директриса слушала строго.

А Дмитрий Николаевич Пудель — улыбался.

Ты смотри, улыбался, какие у них нежности, прямо сердце тает.

А ведь Марья Ивановна не так уж давно самолично заправляла большими делами в каких-то там ойротских Кочках, сама могла вершить отдельные судьбы. А ведь в незабываемом огненном девятнадцатом Дед в этого нынешнего своего коммунального соседа запросто мог из револьвера пальнуть.

Вот ушло время.

Остались — стихи.

Прошлым женам тоже читал стихи.

Первую звали Анна. Она лучше всего чувствовала Блока.

«В час рассвета холодно и странно, в час рассвета — ночь мутна. Дева Света! Где ты, донна Анна? Анна! Анна! — Тишина».

А потом — финал. Всегда (хоть сто раз читай) неожиданный.

«Только в грозном утреннем тумане бьют часы в последний раз: донна Анна в смертный час твой встанет. Анна встанет в смертный час».

Анна, тихая дочь протодьякона из Костромы, и Дед, студент историко-филологического факультета, что они тогда понимали? Самая обыкновенная история, почти по Гончарову. Никаких революций. Таганцевская гимназия в Санкт-Петербурге, Бестужевка, отделение биологии. Чудесная коса. Взгляды, касания. Венчание летом четырнадцатого и сразу Большая война. У Деда — фронт, у Анны — ожидание. Также обычно всё. Увиделись только в семнадцатом — в Ярославле. Души обожжены. У нее сильнее. Преподавала в советской школе, конечно, была отсеяна — за посещение церкви. Так и шло. В конце концов постриглась в монахини под именем Магдалина.

Марья Ивановна о прошлых женах Деда узнавала от Пуделя.

Конечно, все услышанное принимала осторожно, как бы с некоторой неохотой, но (к Пуделю) со скрытой благодарностью. Знала, что отец Веры Анатольевны (второй жены Деда) был царский генерал-майор (со всех сторон — малина), мать — писательница, тоже царская, не из каких-то Кочек, не из Ойротии. Здоровья и любопытства той Вере было не занимать. Не могла пройти мимо увиденного, всегда хотела вникнуть. В двадцатом году, например, под железнодорожной станцией Тайга среди сложенных на обочине мерзлых трупов Дед увидел убитого офицера с книгой в руке. Как так? Какая книга? Морозное бледное солнце в розово-белом дыму, ни звука, ни скрипа, твою мать, почему офицер с книгой?

Но останавливаться не стал.



А вот Вера не поленилась бы остановиться.

Удивлялась: «Ты почему не посмотрел? Хотя бы название!»

Вера к названиям книг относилась как к окнам. Одни бывают пыльные, непроницаемые, как бы в мутных потеках, другие — пронзительно ясные. За неистребимое любопытство отличницу Веру оставляли при кафедре русской истории Императорского Санкт-Петербургского университета, но в ноябре четырнадцатого она сама, добровольно, ушла на фронт. На все у нее сил хватало. Сестра милосердия под Варшавой, в Галиции, на Западном фронте — под Минском, на Северном — под Ригой; Георгиевские медали «За храбрость» третьей и четвертой степени, Аннинская золотая — второй степени, Владимирская серебряная.

С мужем встретила только в Перми.

Ох, этот самый неслыханный пермский период!

Самогон, караулы, крестьяне, опасливо объезжающие заставы.

Хорошая водка. Плохая водка. Русский язык, твою мать. Самогон. Все как взбесились, никого не поймешь. Еще сын родился. По имени Гришка. Вера вставала рано, решительно умывалась, убиралась и, подтянутая, с ребенком на руках (никому Гришку не доверяла), отправлялась в отдел снабжения уездной продовольственной управы, где служила. Впрочем, весной девятнадцатого пермский период окончился. Деда вызвали в Омск — вице-директором Русского бюро печати, показывать людям оскал красного зверя, открывать глаза сомневающимся.

Русское бюро печати — это борьба против революции.

Самое надежное оружие такой борьбы — насилие, но против кого?

Против брата, отца? Но как рассказать солдатам и офицерам, что кровь у нас одна? Правда, с оттенками. Как успокоить и вдохновить? Как уверить в едином (с оттенками) Божьем начале?

«Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен».

Был, возможно, такой человек и в летней Перми, и в зимнем Омске, и в пыльной ветреной Чите, только носил на плечах светлую офицерскую шинель с золотыми погонами.

В Омске Бюро печати разместились на Театральной площади в доме Липатникова.

Руководил заведением профессор Устрялов — высокий, с серебряной бородкой, в очках. «Теория права как минимума нравственности в исторических ее выражениях». Известная работа. Деду поручил газеты, плакаты, пропагандистские воззвания. Умел любое дело организовать. Так хорошо умел, что в двадцать пятом году, вернувшись из эмиграции в новую Россию (и такое случалось), от самого Сталина услышал в свой адрес (на XIV съезде ВКП(б)) нечто вроде одобрения. «Служит у нас на транспорте. Говорят, хорошо служит. Ежели он хорошо служит, то пусть мечтает о перерождении партии, мечтать у нас не запрещено».

Слова вождя (уже уверенного) профессора не спасли.

А Дед в Омске успешно поднимал тираж им же тогда придуманной «Нашей газеты», переправлял ее номера поездами в Новониколаевск и в Томск, понятно, на фронт — с курьерами.



«Зачем в твоей газете столько вранья?» — удивлялась Вера.

Дед объяснял. У каждой власти есть пушки, кавалерия, пулеметы. Значит, объяснял, должны быть и толково, даже талантливо врущие издания. Без этого никак. Без этого нет порядка.

Бесчисленные беженцы заполнили Омск.

На окраинах — землянки, в городском саду — румынский оркестр.

По Любинскому проспекту прогуливаются душки-военные, девичьи со вчерашними животными (меха) на плечах. На рынке — пахучие рыбные ряды. Прямо с возов торгуют мясом, мукой, яйцами. Плетеные корзины с овощами. Пирамиды арбузов, дынь, венки лука.

Паровозные гудки — на путях.

«Я вам не говорю про тайные страдания...» — пела в ресторане очередная Дора или Ньюра. Возбужденный поэт вскакивал из-за стола.

«Та ночь была тревожна. Облака стремил к востоку ветер сыроватый. На профиль адмирала Колчака похож был месяц желчный и щербатый...»

Время от времени сам Верховный проезжал на автомобиле мимо кафе, ресторанов, двухэтажных магазинов Омска. За витринами — товары из Китая, Японии, Индии, Сингапура. На охране Верховного — мундиры цвета хаки, пурпурные погоны с белым кантом. А сам — смуглый. Черные с проседью волосы. Большой нос с горбинкой, щеки выбриты гладко, по-английски. Знали, работает с утра, затем, с часу до трех, докладывает министрам, после обеда — заседания правительственных и всяких ведомственных учреждений. Но в свободное время (если случалось) — прогулки верхом, театр, музыка, даже ресторан с поэтами.

Но беспокойства хватало и без этого.

Союзники требовали передать командование в их руки.

Недовольные усмешки. Небесно-голубые френчи, такие же галифе, кепи с золотыми галунами, хаки с накладными карманами. Не вспомнишь, что где-то неподалеку — кожаные револьверные комиссары.

Снежный простор безумной страны.

«Общественное мнение не поймет этого и будет оскорблено, — отвечал адмирал на претензии союзников. — Армия питает ко мне доверие. Она потеряет это доверие, если будет отдана в ваши руки. Моя армия была создана и боролась без вас. Чем теперь объяснить ваши требования? Я нуждаюсь только в сапогах, в теплой одежде, в припасах и амуниции. Если отказываете, оставьте нас в покое. Мы сами сумеем достать все это, при необходимости возьмем у неприятеля. У нас война гражданская. Иностранец не в состоянии руководить нашей гражданской войной. Для того чтобы после победы обеспечить прочность правительству, командование должно оставаться русским в течение всей борьбы».

Дед во все вникал.

«Я засиделся в баре “Красный рак”. Пьянчуги выли, ныла скрипка-плакса. На сцене негр, одетый в красный фрак, чечетку бил, шельмуя англосакса. На белой стенке я прочел: “Союз расстрелянных и умерших в подвале”. Прочтя, решил: пожалуй, постучусь... — монотонно тянул

юный поэт с твердым сильным подбородком, на вид все равно мальчишка. — А мертвый друг, как восемь лет назад, все восклицал: культура гибнет, финис».

Тревожное ощущение конца.

При этом — лимонная водка, красная икра, чудесная заливная утка, соус кумберленд, пельмени в бульоне с укропом, котлетки даньон. Не сухая вобла большевистских обедов.

В Омске быстро забылась голодная Пермь.

Вера занималась сыном и своими уездными делами.

Дед за редакционным столом ежедневно спасал Россию. «Сверкал семейным портсигаром, дымил сибирским табаком». Каждый день прибывали в столицу Директории поезда с потрепанными войсковыми соединениями, отходившими с Волги. С ними — казаки. С ними — союзники. Одни (белые) матерились, другие (союзники) жаловались на клопов, называя их постельными жуками.

«Буржуи — зарывают вещи, студенты — скалывают лед».

Приятель Деда поэт Арсений Несмелов не упускал ничего.

«Изготовленьем пелеринок соседи улучшают стол. Один неутомимый рынок открыто на бесхлебье зол. И в небо выпуская пули для устрашения бунтарей, красноармейские патрули — у верстовых очередей... Пора понять — права лишь сила. Так не сильна в кольце стальном хихикающая горилла за председательским столом».

В Русском бюро печати вышла брошюра Сережи Ауслендера, влюбленного в адмирала, в его миссию. Очень скоро брошюра разошлась огромными тиражами, была переведена почти на двадцать языков.

Самогон, выстрелы. Опять самогон, выстрелы.

Пыльный ветер. Видение все той же хихикающей гориллы.

Митинги: «Долой!» Митинги: «Веруем!» Но даже призывы к вере звучали как ругательства.

Жить негде. Но неукротимая Вера выбила ордер.

С этим ордером в руках толкнулись в назначенный дом — полутораэтажный, многооконный. Полная нарумяненная женщина в теплом халате поморщилась, демонстративно не замечая Деда, в длинный коридор из дверей выглядывали хихикающие девушки. Дед шепнул: «Вера, понимаешь, куда нам выдали ордер?»

Ответила, заботливо поставив корзину с Гришкой у ног: «Какая разница? Мне Гришку пора кормить».

«Это же заведение Телье».

«Какая разница, все равно жить негде».

Деревянная лестница. Полуподвал с маленькими окошками. Ну, заведение Телье, ну, дом терпимости. Что делать? Такое время. Других вариантов нет. Да и комната как комната, тепло, чистоту наведем сами.

«Мы рождены. Вот факт. Давайте жить».

Ночью — пьяные выкрики, крики, даже песни.

А за окнами — пыльная снежная степь, звезды, на путях всё новые и новые эшелоны. Фронт близко. Фронт с каждым днем ближе. Фронт каждым днем все ближе, все слышнее.



Шепота: «Пора уходить».

Серо-зеленые шинели, широкие фуражки, на лямках через плечо — подсумки с патронами. Спокойный британец. Чех с заведомо преступной мордой. Страстное биение поляка кулаками в суконную грудь. Зачем уходить? Куда? Союзники защитят! Они берут Верховного под защиту!

Ну да, вместе с российским золотом.

Когда (позже, позже) под Иркутском местный эсеровский Политцентр потребовал выдачи Верховного (иначе перекроют железнодорожный путь на Владивосток), союзники ни часу не колебались.

«Мы, нижеподписавшиеся, сим подтверждаем, что переданы 15 января 1920 года в 9 час. вечера по местному времени на станции Иркутск командиром 1-го батальона 6-го чешско-словацкого полка вагоны №№ 2, 105 и 407, в которых находились бывший Верховный правитель адмирал Колчак, бывший председатель Совета министров Пепеляев и лица, сопровождающие их. Присутствие обоих мы лично проверили.

Егор Петелин, есаул».

И ответная бумага.

«Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что сего числа в 9 часов 55 минут по уполномочию Политического центра приняли от командира 1-го батальона 6-го полка майора Кравака в присутствии дежурного офицера поручика Боровички бывшего Верховного правителя адмирала Колчака и бывшего председателя Совета министров Пепеляева. При обыске у адмирала Колчака и бывшего председателя Совета министров Пепеляева ничего обнаружено не было. У адмирала Колчака на руках имеется наличных денег десять тысяч руб., у гражд. Пепеляева с точностью не установлено, сколько у него имеется на руках денег. Гражданин Пепеляев заявил, что у него на руках имеется шестнадцать тысяч руб.»

Ну, сдали, приняли.

Все буднично, ordinarily.

Так вещи сдают-принимают в багажной конторе.

«15 января 1920 года, в 9 час. 55 мин. вечера уполномоченный Политического центра, член центра М. С. Фельдман, помощник командующего Народно-Революционной армии капитан Нестеров и уполномоченный Политического центра при штабе Народно-Революционной армии В. Н. Мерхалев приняли от чешского командования бывшего Верховного правителя адмирала Колчака и бывшего председателя Совета министров Пепеляева. По соблюдении необходимых формальностей они под усиленным конвоем доставлены в Иркутскую губернскую тюрьму, где и помещены в одиночные камеры. Охрана адмирала Колчака и Пепеляева поручена надежным частям Народно-Революционной армии».

Приговор — высшая мера.

Исполнение было назначено на два часа ночи.

Но исполнен был приговор только в пять утра, хотя ходьбы от тюрьмы до впадения речки Ушаковки в реку Ангару — всего полчаса. Это потому, что сперва хотели приговоренных доставить к берегу на машине. Ждали час. Ждали два. Не дождалось. В итоге повели действующих



лиц (как написано было в одном из отчетов) к месту исполнения пешком. С ними семь человек расстрельной команды, все эсеры. А с ними председатель чрезвычайной следственной комиссии, также — комендант Иркутска, начальник тюрьмы и врач Знаменского госпиталя (большевик).

В газете «Народная мысль» событие описали так.

«По узенькой, едва установившейся дорожке к неровному льду Ангары гуськом двинулось редкостное шествие: оставленный всеми, потерявший полнейший крах в своей государственной деятельности, тот, кто еще вчера горделиво именовал себя “Верховным правителем России”, и рядом с ним представители революционной демократии со своими верными народно-революционными войсками. В безмолвном морозном воздухе тихой зимней ночи на белом снежном покрове реки ярко и отчетливо выделялись, как живые символы рухнувшей реакционной власти, одинокие фигуры Колчака и Пепеляева...»

Вера в те дни (с малым Гришкой) находилась далеко — под Красноярском.

Там же попала в плен. Когда отпустили, учительствовала в Томске. Яростно выживала. И выжила! Больше того. Летом двадцать первого сумела привезти Гришку во Владивосток, где наконец встретил ее измотанный событиями Дед.

Но опять ненадолго.

Правительства падали одно за другим.

На пароходе «Фузан-мару» Деду пришлось срочно бежать в Корею.

Уходил из Владиво (так японцы называли город Владивосток) мимо замерших на рейде тяжелых японских и американских крейсеров. «Ниссин». «Касуга». «Карлейль». «Сакраменто». Берег в беженцах, как в муравьях. Мелкий дождь. Телеги, лошади, корзины, баулы, чемоданы, подушки, одеяла. Офицеры, чиновники, священники, барышни. Клубилась на берегу белая Россия.

В корейской гостинице Дед писал о крахе.

«Революция победила еще раз». Курил. Мучила изжога.

Вспоминал профессора Устрялова. «Теория права как минимума нравственности». Остро и неприкаянно чувствовал, что прижиться, наверное, сможет где угодно. Но приживаться не хотелось. Хотелось жить.

Перебрался в Китай.

Тяньзинь. Потом Харбин.

Борис Ласкин под гитару пел в ресторане.

«У палача была любовница, она любила пенный грог...»

Ну, любила. Под самогон. Под музыку. «Кто знает, где теперь вино-ница его мучительных тревог?..»

Никчемный вопрос.

Тут же, наверное. В Харбине.

Вон идет трамвай из Модягоу на Пристань. По набережной Сунгари прогуливается бритый лама. Музыка из отеля «Модерн» на Китайской улице. В тихих садах — тяжелые умирающие астры. Перед магазином «У Чурина» на деревянных скамьях покуривают русские старики.

Куда спешить?

Теперь времени много.

До приезда Веры в Харбин Дед часто бывал у Валериана Верховского.

В Китае бывший сотрудник Осведверха сразу и навсегда вычеркнул из своей жизни прошлое, связанное с войной. «Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого».

Поводил носом, как клювом.

«Сколько знаете вы, знаю и я; не ниже вас».

На левой руке — черная перчатка, кисть изуродована ранением.

На столах, на полках, на полу — книги. На многих языках, это не проблема.

На столе черная тушь, перо, листы бумаги. «И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков». Вот вам листок с новым некрологом. Тимирев Сергей Николаевич, контр-адмирал. Вот другой. Трухин Евангел Логинович, есаул. И вот еще один (и другие будут) — Ефтин Иван Степанович, генерал-майор.

Говорите, живы еще?

А надолго?

Кстати, в Северной стране (уже по возвращении из Китая) в долгих доверительных беседах с полковником Баряновым Дед не раз пытался (как бы случайно) вывести его на Осведверх. Конечно, всплывали разные имена, но имя Верховского никогда, оно даже близко не возникало. При этом евангелистов не обошли. Реакция Барянова очень заинтересовала Деда. «Лука? Ну как же, благовеститель. — (Так Барянов считал.) — Если говорить о символах, Лука — это *наш* человек. Совсем наш, не будете спорить? Ведь это Лука повторял: *стучите, и отворят вам*».

Знал Барянов при этом, что евангелист принял мученическую смерть: был повешен на дереве в возрасте восьмидесяти четырех лет.

Но чего тут сожалеть?

Много пожил, много видел.

Некоторые некрологи Верховского тоже кончались повешением, только речь в них шла не о библейских местах. Твою мать. Сибирь — обширнее святых мест. Верховской уверенно чувствовал себя в родной русской речи. Был убежден, что чужие слова, употребляемые без необходимости, не обогащают язык, даже наоборот. Немцы испортили свой язык латынью, поляки — галльскими выражениями, в России тоже видны следы чужого и там, и тут. Вместо столового прибора — сервиз, вместо милой привычной спанечки — мантилья. А там еще и нахтиш, туалет, бекас, даже вместо привычной чудесной лошади — конь.

«Мужчина, притащи себя ко мне, я до тебя охотница».

Это что, русский язык?

«Мужчина, как ты не важен!»

Вы уверены, что это сказано по-русски?

«Ха, ха, манкьор, ты совсем уморил меня».



«Какие необретаемые болванчики!»

Уйдя в новую жизнь, Валериан Верховской спрятался от людей в уютном доме, укрытом деревьями тихого зеленого парка. Любил долгие беседы. Ссылался на фон Визина, но цитировал стихи Деда.

«Зал библиотеки в вечерний час румяный, листаю Цезаря записки “О войне”. И вижу — лагерь в Галльской стороне, орлы, буцимы, вал и синяя Секвана... Гай Юлий — горбонос, сутол, а взгляд орлиный. Он тростью пишет в Рим: “За Альпами, в стране косматых варваров — на жирной целине навек воздвигнута Империя Романа. Меч римский победил тех дикарей нагих, я шлю в Италию заложников из них, чтоб город мой триумф высоко ведал”. Но, Цезарь — посмотри: молчат ряды столов, над книгами ряды склонившихся голов... И что для них теперь твоя победа?»

В доме Валериана — лакированная мебель, запах английского табака.

Пугал Деда: язык в чужой среде усыхает. Иногда — очень быстро. Среди китайцев мы, русские, как лесная травка в грубой полыни. Среди япсов вообще — как в кислоте. «Ах, как он славен, с чужою женою и помахать не смеет, еще и за грех ставит». Год, другой — и редешщие беженцы (бедность, болезни, отсутствие будущего) начнут разговаривать словами, которых сами не понимают.

Валериан обладал особенностью — чувствовать невидимое.

Не скрывал презрения к тем, кто уже сейчас в ненависти своей к потерянной родине дошел до дикости требовать все русские книги печатать только английскими литерерами. Таких не принимал. Не было для него таких. Вот идет к нему вроде хороший человек, разве только в голове вздор языковый, все смешалось, а Валериан от него отворачивается. То ли дышит гость не так, то ли хромает некрасиво.

А в комнатах — тишина, чудесный фарфор из Золотого треугольника.

«И после нашей жизни бурной вдали от нам родной страны, быть может, будем мы фигурным китайским гробом почтены». Поэзией, впрочем, не злоупотреблял. «Холод и мрак грядущих дней...» Почти все этим сказано.

Профессионально (все же бывший сотрудник Осведверха) любил слухи, держал особенную кухарку, говорившую на китайском, на японском и на русском языках. Просил Деда, когда тот уезжал (неважно, в Японию или вглубь Поднебесной): «Многих увидите. Много услышите. Удивите меня, своего хорошего друга, напишите мне, кто кого бросил, кто с кем сошелся, кто против кого дружит. — Шурился счастливо, новый евангелист. — Слабость имею. Думать о прошлом. Часто думаю о черте, который ходил к Ивану Карамазову, хотел в купчину воплотиться, баню посещать, свечи ставить, даже при случае рывкнуть осанну. Подозреваю, что рывкнул. Подозреваю, что с той поры и прекратилась всякая история. За ненадобностью».

Корил за невнимание к малым, зависимым.

«По одежке встречаете, — корил. — Торопитесь. Привечаете не тех. Вон хорунжий Северцев в пьяном виде разгромил редакцию харбинского еженедельника. Зачем? По делу? Да если даже и по делу, задумайтесь,

время ли сейчас бить япсов? У них деньги. У них сила. У них влияние. Григорий Михайлович Семенов совсем не случайно дружит с япсами. — Вдруг менял тему разговора. — Ну да бог с ними. Мои некрологи объяснят все. Хотя жаль... Правда, жаль... Ну зачем хорунжий Северцев побил в редакции китайские фонари редкостной работы? Ну право».

Корил Деда за скандал в салоне мадам Баожэй.

Надо ли было на глазах «драгоценной шпильки» (так можно перевести имя хозяйки салона) столь энергично унижать французского генерала Марселя Пти? И, кстати, почему Марселон? Он же по рождению — Марсель.

«Пти — это маленький. А Марселон — воин. Вот и получается — воин, но маленький», — старался объяснить Дед. Ничего другого этот маленький генерал и не заслужил.

И еще один генерал — Дитерихс Михаил Константинович, по прозвищу Соборщик, не вызывал у Деда особенного уважения. По некрологу Верховского, пал Михаил Константинович еще во Владивостоке в какой-то специально спровоцированной стычке с япсами, но на самом деле спокойно поживает в Шанхае. Ростом невелик, как тот же генерал Пти. Ровный пробор на голове, как принято, глаза внимательные, уши отставленные — ну, это уже природа поработала. Живет тихо, пишет мемуары, исследует мученическую смерть (в далеком Екатеринбурге) российского императора Николая II и его семьи, жалеет о несбывшемся.

А по Верховскому — *пал*.

Кто оплачивал дом Валериана, его фарфор, его мебель, привычки?

Кто оплачивал его искалеченную руку? Его особенную многоязыкую кухарку?

Понятно, никаких прямых вопросов Дед не задавал, а сам Валериан по этому поводу никогда никак не высказывался. Только твердил постоянно, напоминал тревожно: «Цените язык. Всякий язык, не подпитываемый живым общением, иссыхает. Вот придет нужное время, а вы не сможете общаться с русскими».

«А нам еще придется общаться?»

Оба имели в виду Северную страну.

«А вы что, в это совсем не верите?»

Дед пожимал сильными плечами.

Харбинское общение ему приелось.

Если даже уже сейчас родную речь теряем, что говорить о будущем? Во что встраиваться, в какую жизнь? Растет, меняется человек только в процессе учения или обучения, а чему, у кого учиться?

«Не верьте тем, кто потерял много».

«Не верьте тем, кто не потерял ничего».

В доме Валериана неслышно властвовала его особенная кухарка.

Всегда в черном, всегда неслышная. И есть она, и нет ее. Но есть она или нет, все равно самые интересные новости в дом приходили с нею. Это она, многоязыкая кухарка в черном, приносила самые интересные новости. Это она смотрела на черную перчатку Валериана со скрытым



азиатским сочувствием, а Валериан (не обязательно — за это) позволял ей подрабатывать на кухне японского представительства. И для французов выполняла она какую-то работу. Рассказывала о финансовых разборках япсов и лягушатников. О нечистоплотности портнихи, работавшей на обеспеченные русские семьи. Была в курсе постоянно меняющихся курсов китайского дайна, японской йены, франка, доллара, даже гоби, придуманного в Маньчжоу-Го.

«Какое нездоровое любопытство», — заметил однажды Дед.

Валериан усмехнулся: «Да и вы вряд ли, друг мой, сумеете построить жизнь праведно».

Внешне, казалось, ничего не происходило.

Ну кухарка, ну гулял в саду, ну писал некрологи.

Зажигая свечу, не занавешивай окна, пусть идущие — уже с улицы видят свет.

Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, что не сделалось бы известным, не обнаружилось бы. Не случайно про таких, как Валериан, говорят: вид имеет путешествующего в Иерусалим.

В апреле двадцать пятого неукротимая Вера добралась и до Харбина.

Китайско-Восточная железная дорога всем давала приют. Дочь генерал-майора не гнушалась никакой работой. Служила конторщицей, стучала на пишущей машинке, разбирала иностранные книги в учебных библиотеках, подрабатывала сестрой милосердия в лечебнице докторов Миндлина и Кауфмана. К окружению Деда относилась терпимо, но Верховского не признавала. «Что-то в нем чувствуется большевистское».

Заставила Деда снять дом в иностранном сэттльменте.

Теперь на письменном столе (как у Валериана) всегда стояла баночка с превосходной тушью. Рядом — стопа шелковистой бумаги с бледными водяными знаками. В корчаге на кухне — отвар из чудных кислящих слив.

А в двух кварталах в дешевом приюте спасался от жизни Арсений Несмелов.

«Удушье смрада в памяти не смысл веселый запах выпавшего снега, по улице тянулись две тесьмы, две колеи: проехала телега. И из нее очо-ченевших рук, обглоданных... та-та-та... какими-то... псами, тянулись сучья... Мыкался вокруг мужик с обледенелыми усами. Американец поглядывал в упор: у мужика под латаным тулупом топорщился и оседал топор тяжелым обличающим уступом...»

Голос Арсения срывался непослушно.

«У черных изб солома снята с крыш, черта дороги вытянулась в нитку. И девочка, похожая на мышь, скользнула, пискнув, в черную калитку».

Воду для чая Арсений согревал на японской спиртовке.

Без смущения (если надо) занимал пару монет у соседа-швейцара.

На неубранном столе — оловянный чайник, плоская фарфоровая тарелка с палочками для риса. Если день удавался, Арсений брал в ближайшей лавке бобы с укропом. Заглядывал в знакомые китайские дома, в них люди полуголые и босые, в них коромысла с едой, хриплые звуки хуциня, незатихающий патефон, а во дворе — открытые бочки с нечистотами.

Устав от размышлений, бездумно валялся на жестком диване, утешая себя тем, что там... где-то там... в Северной стране... о, там гораздо хуже, там невыразимо хуже, чем в Харбине... там бледные люди, как лишайник в ледяной тьме, выплели от лишений...

А в доме Деда (руками Веры) — тонкие занавеси.

А в доме Воейковых — каждую неделю русские поэты.

Ленька Ёщин (так и называли его), Борис Бета, Сергей Алымов.

Гости в штатском, но в первый год встречались мундиры. Красивые, рослые, нервные офицеры. Как птеродактили, щелкали клювами. Опустились на Харбин огромной стаей, всё еще готовы подняться снова. Хлопали крыльями, трещали, подпрыгивали, но уже догадывались — дальше лететь некуда.

В первый год Воейковы держали несколько комнат.

Дом на Гириной. Вокруг много зелени, чисто. Но три комнаты (при первом визите прикинул Дед) — это тридцать пять йен, а йена стоит уже три доллара. На стене гостиной — фамильный герб (обесмысленный уходом из России), на резном комодe — бархатный альбом с фотографиями. Бедность еще не бросалась в глаза, но скрыть ее было уже невозможно. Мадам Воейкова выглядела растерянной. «Вот полюбуйтесь, до чего довели людей нашего круга».

Никакой речи о будущем.

«И после нашей жизни бурной вдали от нам родной страны, быть может, будем мы фигурным китайским гробом почтены...»

Стихам хозяйка улыбалась благосклонно.

Длинный жакет с карманами. Длинная юбка.

Зарабатывала в экономическом училище — вела французский язык, слава богу, еще не гадала на картах. Расшумевшихся дочерей одергивала: «Вы ведете себя как горничные». Даме с величественным именем Сидония Петровна жаловалась на знаменитого Петрова-Скитальца: неумеренно пьет, бьет посуду, мечтает о возвращении. По-особенному взглядывала на приятельниц из офицерского круга. Эти одиноки, ищут поддержки. За что их корить? О какой напоминать порядочности? Женщин, проделавших путь от Омска до Харбина, нельзя делить на порядочных и непорядочных.

«В туманной круговерти туманятся хребты. Эгин-Дабан бессмертен, полковник, смертен ты...»

Хозяйка смотрела на Деда влюбленно.

И все равно — тоска, все равно — скушно.

Будущее? Какое будущее? Да откуда будущее?

Однажды, проснувшись, Дед увидел Веру, жену, у окна.

Ночь. Неясный лунный свет. Стояла босиком. Прямая спина смотрелась ровно, как китайский иероглиф *лишу*, обозначающий единицу. «В туманной круговерти...» Что Вера видела в смутной тьме русско-маньчжурского города? Ну слива в хлопьях медленного снега, ну куст черного чая, заиндевелая туманность акации. А спросишь: «Что там?» — молчит.

Да и не обязательно отвечать, полковник.

Это у китайцев все просто. Как есть, так и говорят.

Вот написали (в местной газете), что тихий профессор Хуа — реакционный нехороший профессор. Таким теперь и умрет, если не напишут обратное.

Так что, цин цин, не беспокойтесь.

Вера вполне могла остаться в Северной стране, никто ее оттуда не гнал, но сама добралась до Харбина. Как это зачем? У меня муж в Китае, Гришка должен расти при отце, все-таки я дочь генерал-майора.

Приходил Арсений. Пили подогретое вино.

«Ты пришел ко мне проститься. Обнял. Заглянул в глаза, сказал: “Пора!” В наше время в возрасте подобном ехали кадеты в юнкера. Но не в Константиновское, милый, едешь ты. Великий океан тысячами стирает мили до лесов Канады, до полян в тех лесах, до города большого, где — окончен университет! — потеряем мальчика родного в иностранце двадцати трех лет. Кто осудит? Вологдам и Бийскам верность сердца стоит ли хранить?.. Даже думать станешь по-английски, по-чужому плакать и любить...»

Задыхался, запивал слова вином.

«Мы — не то! Куда б не выгружала буря волчью костромскую рать — все же нас и Дурову, пожалуй, в англичан не выдрессировать. Пять рукопожатий за неделю, разлетится столько юных стай!.. — Делал очередной глоток. — Мы — умрем, а молодняк поделят Франция, Америка, Китай».

У Воейковых, у Ошаровых, у Зеленских — одни разговоры.

И там, и там (по разным поводам) цитировали Конфуция. Кто что.

«Трудно кормить женщин и подлых. Приблизись к себе — становятся непослушными, отдалишь — начинают роптать».

Жаловались на иней. Нежная черепица крыш в изморози — это красиво, но сыро и холодно. Жаловались на комаров, которые в Харбине совсем дурные. Холодно, а они кусаются, никак не пропадут. Обсуждали бесконечную войну в России. Ну никак не кончится. Мы ушли, а война никак не кончится. Кто там воюет? С кем воюет? Из Харбина война в Северной стране казалась уже столетней.

Возмущались статьей в «Гун бао».

«Таких тварей, как старики, нам, молодым, выносить трудно».

Если даже в Китае начали *так* писать о стариках, значит, что-то и тут сломалось.

«Ходит такой старик с вшивой косой на голове, как дикий памятник старины. По стойкости сопротивления болезням нет ему равных. Скоро все вокруг будет занято одними стариками».

Но о чем бы ни говорили, все заканчивалось словами о возвращении.

Да, в Северной стране холод и неустроенность. Да, там постоянно стреляют.

Но там — родная речь. Там квартира с балконом на цветущую черемуху. Там окна распахиваются на бульвар — в русскую речь, не в китайское бормотание.

Да где же такое? В Москве? В Петербурге?

Нет, в Костроме, в городе детства.

Там каменные дома, деревянные избы, базары, церкви.

Там любую новость можно узнать (по крайней мере, так до недавнего времени было) из «Губернского календаря», или из «Костромского листка», или из «Губернских ведомостей».

Там масленица с блинами, государственный порядок, умные книги.

А вокруг площади с каланчой (до самых мелких подробностей помнил каждую деталь), вокруг памятника Ивану Сусанину мчатся тройки, запряженные в белые с коврами сани, одиночные рысистые выезды, дровни с наброшенными поверх соломы коврами. Гривастые, могучие лошади в бубенцах, в колокольцах, в лентах, фырканье, ржание, и тут же трусят в меру своих сил непритязательные савраски.

«В санях сидели, лежали, стояли веселые хмельные люди, размахивали, кружили вожжами и кнутах над головой, — писал Дед в набросках к своей будущей книге. — Женщины в алых, зеленых, голубых, синих плюшевых ротондах с пышными меховыми воротниками, покрытые в роспуск цветными платками, из-под которых выглядывали старинные “ряски” — жемчужные сетки. Улицы запружены подвыпившим народом — сильным, властным, красивым, необыкновенно говорливым и хлестко остроумным. — Конечно, Дед чувствовал, что некоторые слова придется менять, но не интонацию, главное, не потерять интонацию. — Солнце вытопило эту силу, и бурный карнавал скакал, несясь с площади по широкой Павловской улице мимо дворянского собрания, мимо старого уютного костромского театра, мимо дома богатеющих купцов Солодовниковых все дальше к Галицкому тракту, а затем обратно».

Что-то подсказывало: никогда уже такого не будет. Ни здесь, в Китае, ни там, в Северной стране.

Недостоверное прошлое.

Как вернуться в это прошлое?

И не менее важно: с кем?

С Пепеляевым?

Анатолия Николаевича выбили из Томска в декабре девятнадцатого.

Уходил в своем поезде — с охраной, с женой, с сыном и с матерью. Тяжелый сыпной тиф. В горячке перенесли генерал-лейтенанта в теплушечный санвагон, семья уехала. В болезни оплешивел, потерял силы, вес, но на ноги встал. Почти вся его 1-я Сибирская армия легла в снегах от Томска до Красноярска, прикрывая отход к Иркутску частей Каппеля и Войцеховского.

Долечивался уже в Верхнеудинске.

Сформировал партизанский отряд, ушел в Сретенск.

Думал влиться в соединения атамана Семенова, но Григорий Михайлович уже давно и тесно сотрудничал с японцами. В итоге оказался в Харбине.

Ни армии, ни денег.

Но деньги не проблема.

В семье потомственного дворянина Николая Михайловича Пепеляева, генерал-майора, когда-то начальника Томского гарнизона, и уверенной купеческой дочке Клавдии Некрасовой мышечный труд всегда ценился. Сыновья растут. Сыновья выросли. Кто ты, если ничего не умеешь? К тому же Томск прост. Сибирские Афины и всякое такое, но всё же провинциальные люди отличаются от столичных. Так что в Харбине (жизнь сменилась) Анатолий Николаевич Пепеляев без всякого труда забыл свой генеральский чин, нос не задирает — плотничал, столярничал, занимался извозом, параллельно этому делу создал «Воинский союз», председателем которого посадил генерала Вишневского, благо, русских генералов в Харбине в то время хватало.

Постоянно получал предложения о сотрудничестве.

Белые звали, это — само собой. Но и красные звали. И те, и другие высоко ценили боевой опыт генерал-лейтенанта, понимали, что война ещё не закончилась. Только вот беда: у красных Пепеляев никак не принимал жестокости, а в белых разочаровался.

О, Харбин!

О, пыльный и редкий снег!

О, песчаные бури из пустыни Гоби!

Дед в Харбине не засиживался — писал в газеты Китая, Кореи, Японии. Писал много и зло. Его ценили и боялись. Япсы оскорблялись, корейцы не всегда понимали подсказки, китайцы сами пытались Деду подсказывать. Даже в далекой, почти недостижимой Северной стране, в самом сердце её — в Москве — некий Михаил Кольцов поносил Деда за его взгляды на революцию.

Все в мире перемешалось, как в кипящей кастрюле.

А Дед наблюдал. Работал и наблюдал. Сил на все хватало.

Внимательно следил за тайными встречами генерала Пепеляева.

В отличие от многих (даже военных) хорошо знал, что с некоторых пор зачастили к Анатолию Николаевичу представители далекой якутской (советской!) общественности, среди них очень уверенные господа Попов и Куликовский, эсеры. В холодных оленных краях готовилось восстание против большевиков. Анатолий Николаевич, примите командование, Анатолий Николаевич, не закапывайте таланты в землю, Бог не простит, а большевики — не моль, сами не выведутся!

Большевики как бесы, имя им легион.

Снег. Траурные листовницы. Раздумья.

В конце лета (двадцать второй год) Пепеляев (сам) предложил Деду поход в Якутию. «Шашку можете не выхватывать, но ваше перо нам необходимо».

Дед ответил: «В успех не верю».

Внимательно ко всему присматривался.

Не собирался, как некоторые, умирать в Китае и не испытывал никакой охоты ложиться в якутскую вечную мерзлоту.

Поначалу у генерал-лейтенанта Пепеляева все складывалось.

Во Владивостоке, где власть все еще удерживал «соборный» генерал Дитерихс (Соборщик), Анатолий Николаевич, погрузневший, сердитый, сформировал специальную воинскую часть — для похода на Аян и Якутск.

А оттуда — на Москву.

Почему нет?

Генерал Дитерихс (понимал: союзники всегда пригодятся) помог Пепеляеву деньгами и оружием. В «Милицию Татарского пролива» в короткое время записалось семьсот двадцать человек. Всем хотелось домой, в Россию. Не важно, каким путем, главное — победителями. Генералы Вишневский и Ракитин обеспечили добровольцев пулеметами, ручными гранатами, патронами, обмундированием. Два нанятых судна не смогли вместить всех добровольцев, к Аяну в августе двадцать второго года отправилось всего пятьсот пятьдесят три человека во главе с Пепеляевым и Ракитиным.

Вишневского оставили во Владивостоке — пополнять кассу.

В начале сентября боевой отряд высадился в Охотске. Почти триста человек под началом Пепеляева сразу ушли в Аян. Проживали в том странном порту примерно полсотни человек, не больше, их, понятно, «освободили». На волне успеха «Милицию Татарского пролива» переименовали в «Сибирскую добровольческую дружину», заодно провели Первый народный съезд тунгусов, кстати, получив от них очень щедрый дар — триста оленей.

Шли мерзлым Амгинским трактом.

На короткой дневке в захолустном Нелькане потеряли двух добровольцев — сбежали к красным. С того дня, ставшего переломным, с сомневающимися больше не церемонились.

Хочешь победы — веруй!

В конце декабря появился приказ.

«Добровольцы Сибирской Дружины!

Приняв на себя тяжелый труд служения великому делу народному, наступающий Новый год встречаем мы в чрезвычайно трудных условиях. В холодном, глухом и суровом краю, вдали от родных и близких стоим перед неизвестностью будущего. Страдания русского народа достигли пределов: по всей стране царствуют злоба, зависть, вражда, кошмарный голод охватил целые области. Черные тучи ненависти и рабства нависли над прекрасной Родиной нашей. В погоне за личными выгодами, за легкой наживою, темные русские люди, забывшие вдруг Бога и христианскую Веру свою, пошли за кучкою сознательных предателей и авантюристов, бросивших лозунг: грабь награбленное!

Сначала грабили богатых, а потом стали грабить и убивать друг друга.

Из города вражда перекинулась в деревню, и скоро не стало уголка Русской земли, где бы не было убийства, насилий, грабежей. Озверел народ, помутилась земля от края до края. Рекой полилась братская кровь и

течет по настоящее время. Что создавалось веками, разрушено в четыре года. Россия обратилась в нищую страну, на родине люди голодают, умирают тысячами, а кто и убежал за границу — живет там бесправным рабом. Иностранцы на русского беженца смотрят с насмешкой и презрением.

Где же выход, откуда ждать спасения? Неужели погиб, не встанет русский народ?

Нет, не может погибнуть наш великий Русский народ! Бывали не легче времена в истории. Бывали времена великих смут и потрясений, из которых, казалось, не могла выйти Россия. Но как только народным страданиям наступал предел, находились сильные духом Русские люди, которые, отрешившись от своих выгод, шли спасать свою Родину, создавали непобедимые Дружины народных ополчений, которые изгоняли врагов с Русской земли. Тогда освобожденный народ едиными общими усилиями создавал порядок и власть, и Россия, сильная и великая, возрождалась на радость сынов своих и на страх врагам.

Так и теперь.

Красная власть захватила всю Россию.

Но в глухом, далеком и суровом краю, на берегах Великого океана, вы, малая числом, но великая любовью к Родине горсточка Русских людей — Сибирская Дружина — подняли знамя священной борьбы за свободу и счастье народа. Наше бело-зеленое знамя — символ чистоты, надежды и новой жизни, знак снегов и лесов сибирских, вновь развеивается в родной Сибири. Кругом нас кровавая красная власть. Но кругом нас — и стонущие под игом этой кровавой власти Русские люди. Они ждут нас. Мы еще далеко, а слух о движении нашей Дружины за сотни верст идет впереди нас. И вот при одних только слухах о нашем движении организуется население, присылает приветствия. Никому не известные простые люди, крестьяне, солдаты собирают отряды. Пробуждается сознание народное — и в этом залог победы. Не иностранные капиталы и армии, не союзные дипломаты спасут Россию. Россию спасет сам Русский народ. В страданиях и невзгодах очистится Родина наша и явится миру свободной и великой.

Братья! Нас малая горсточка, но горсточка эта может принести великую пользу.

Не много дрожжей кладет хозяйка в тесто, а оно вздымается. Так и наша Дружина, придя к народу, слившись с ним, несет ему освобождение. Она обрастает народными отрядами и может обратиться в сильное, непобедимое народное ополчение. Мы идем с чистым сердцем, протягиваем руку всем. Ни ненависти, ни мести, ни расстрелов не несем мы. Мы хотим утвердить народную власть, которая одна лишь может вывести Родину на путь возрождения.

Не раз говорил, повторяю и теперь: много бед и невзгод будет впереди, может, и гибель нас ждет. Но мы на верном пути, и, если мы погибнем, найдутся другие люди, сильные духом, — они довершат наше дело.

В этот день Нового года, в дни наступающих праздников Рождества Христова, помолимся о спасении Родины нашей. Пусть и для нее родится Христос и принесет с собой освобождение всем угнетенным, измученным, страдающим. Дадим же братскую руку друг другу, сомкнем свои ряды и смело пойдем вперед на Родину!

Для закрепления сплоченности в рядах Сибирской Добровольческой Дружины, для большей спайки всех чинов ее, приказываю с 1 января 1923 года всем чинам Дружины звать друг друга — брат; как вне службы, так и на службе, и в строю.

Брат генерал, брат полковник, брат доброволец.

С Новым годом, братья!»

Авантюризм? Лихачество? Дерзость?

Да на все сто! Иначе и быть не может, взгляните только на карту.

На все четыре стороны голые снежные пустыни, ледяная мгла, одиночество.

Это что ж, на олешках мчать под северными сияниями до самой Москвы? Махать искрящими шашками над кустистыми рогами?

Да и красные наконец проснулись.

Оказались у них свои каналы. Нужная информация доходила хотя и хитро (не всегда поймешь, кто радеет), но доходила. Вот и проснулись.

Да так проснулись, что в марте двадцать третьего года последним остаткам потрепанных добровольцев спешно пришлось своими руками строить кунгасы, чтобы поскорее убраться на Сахалин. В советском консульстве (журналист имеет право получать информацию из любых рук, к тому же журналистов не столько расстреливают, сколько пытаются покупать) Дед первым узнал о бесславной сдаче генерал-лейтенанта Пепеляева красным, о том, что большевики Владивостока тут же приговорили своего пленника к смертной казни, вот, правда, шлепнуть не успели. До Калинина, до красного всесоюзного старосты чудом дошло покаянное письмо о помиловании.

Смертную казнь заменили всего лишь десятью годами тюрьмы.

Первые два года Пепеляев провел в одиночке ярославского политизолятора.

Не раз просился на общие работы, но разрешили ему такое только в двадцать шестом. В конце концов, руки золотые. Плотничал, стеклил окна.

«Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы!»

Время шло, кто его остановит?

В июне тридцать шестого генерал-лейтенанта Пепеляева с его молистами руками доставили в Москву (приказ сверху) — к начальнику Особого отдела НКВД Марку Гаю. Судя по имени этого начальника, в Северной стране начинало попахивать империей. Правда, специфической. Ведь по рождению звался чекист Марк Гай — Марком Штокляндом. Пепеляев щурился (разбил очки, новых пока не раздобыл), чекист тоже щурился. Рассматривал усмиренного генерала. Вот он перед ним.



Круглое, в пурпурных жилках лицо (остаревший, но все еще не дряхлый волк), волосатые ноздри, неаккуратно подстриженные усы, тяжелое дыхание. Когда-то бил красных, красовался на белом коне, теперь ждет худшего.

Худшего на этот раз не случилось.

Имперский чекист прочитал Анатолию Николаевичу постановление об освобождении (не сразу поверилось) и озвучил новое место проживания — советский город Воронеж.

А везде живут. Чего там.

Строил мебель. Сколачивал гробы.

И с советскими людьми свыкся, чего там.

Конечно, ходили смутные слухи о некоем сотрудничестве генерала Пепеляева с властями, но слухи потому и слухи, что без них никак. Жил Анатолий Николаевич тихо. Ночами снились ему томские дворы, река Ушайка, кирпичные купеческие лабазы, благодать теплой сибирской осени. Каждый листочек, каждый жук, считай, каждая стрекоза там, в Томске, могли радовать сердце. Вот припади к родной земле — и не пропадешь. Родная земля все даст, от картошки и свеклы — до ранеток и малины.

Но в августе тридцать седьмого — арест.

На этот раз отправили бывшего генерала в Новосибирск (бывший Новониколаевск). Считай, совсем рядом с родным Томском, с родным углом.

Сердце стучало, вдруг доживу дома? Но какой дом? Решает особая тройка. Она и решила: смерть...

Одно время Дед дружил с немецким консульством.

В далекой Германии тоже закипало что-то совсем новое, не во всем понятное.

Многоопытный профессор Устрялов с его тонким историческим нюхом на перемены предрекал новому явлению — нацизму — большое будущее. Дед и к этому прислушивался. Почему нет? Политика — те же ботанические опыты. Ты посеи, какие-то ростки все равно пробьются.

Вот ростки и пробивались.

Дед все видел, все просчитывал.

В двадцать пятом сбежал из советского Благовещенска (в одиночку переплыл Амур) Костя Родзаевский — бешеный комсомолец. Тощий, злой, пил мало, глаза горят, говорил отрывисто. Доктрина Муссолини, провозгласившего фашизм в Италии, приводила Родзаевского в неистовство. Сколько можно опаздывать? Мы задумываемся, а кто-то на ходу подхватывает идею. Мир мал, тесен. Нельзя опаздывать. Родзаевский во всем подражал дуче, даже говорил так же, как он, отрывисто, резко, так же, как дуче, создал для своей партии черную униформу (цвет бодрящий), ввел ремни. Думая о будущем, не только укреплял саму партию, но и строил:

— Союз Юных Фашистов — Авангард,



- Женское Фашистское Движение,
- Союз Фашистской Молодежи,
- Союз Фашистских Крошек.

Всё, как водится, с заглавных букв.

Но вот странно, отмечал про себя Дед, чем больше Костя Родзаевский, русский фашист, употреблял жестких слов, тем меньше в его речи оставалось истинно русского. Для Деда потеря языка — дело нестерпимое. Жить можно только в родном языке, в его реках, в его живительных океанах, а Родзаевский перерождался, и это, конечно, началось с языка. Со всех этих «необретаемых болванчиков».

Черные усы, черная борода, голубые немигающие глаза.

Деньги? Для Родзаевского не играло роли, каким путем. Главное, на благое дело. Понадобится — и зарвавшегося Шляпина обложим данью. Ты же не япс, не китаец, ты русский патриот. Открывай мошну. А не откроешь, сорвем концерт.

Нет, понимал Дед, на фашизме в Северную страну не въедешь.

Одно время в Харбине много говорили об атамане Семенове.

Григорий Михайлович ходит в китайском платье... Григорий Михайлович занимается восточной философией... Григорий Михайлович переводит стихи Тютчева на японский... В Тютчеве, говорили, Григорию Михайловичу особенно нравилось то, что сам поэт читал свои стихи напевно. «Да откуда вы можете знать такое о Тютчеве, Григорий Михайлович?» Отвечал: «Душой чувствую».

Поводил усами. Дружил с япсами. А то! Чите кто помогал держаться? Японцы. Веру в новый крестовый поход против большевиков кто поддерживает? Они же.

Однажды Дед провожал атамана.

Из ресторана. Ночью. Семенов ступал грузно.

Правда, не косолапил, а скорее подкосолапывал.

Вроде и нет такого слова, но все равно — подкосолапывал.

«Царь благодушный... — Оступался, подвертывалась нога. — Царь с евангельской душой... — Сплевывал. — С любовью к ближнему святой... Принять, державный, удостой... гимн благодарности простой...»

Стихи Тютчева, монгольский мат.

Атаман тяжело отдувал усы. «Ты, обнимающий любовью своей...»

Танд тамхи! «Не сотни — тысячи людей...» Байна уу! «Ты днесь воскрыльями ея...» Мат. Сплевывал. Снова мат.

«Благоволит покрыть и бедного меня...»

«Юолсон бэ? В чем дело, Григорий Михайлович?»

«Воскрыльями...» — никак не мог успокоиться Семенов.

Дед видел атамана (генерал-лейтенанта) всяким. И раздраженным видел, и в стельку пьяным, и орущим во весь голос, даже благодным, как однажды во Владивостоке в декабре двадцать первого. Там, на большом сборище в роскошном ресторане «Версаль», знакомили русских и японских журналистов. Цель благородная: сблизить боевую печать.

«Банкет прошел под знаком истинного товарищеского сближения».

Кстати, Дед на том сборище выступал от лица правой прессы, а отвечал ему известный корреспондент газеты «Хочи-Сумбун» — Ямаучи, левый. Хотя учителями японцев, сказал благостный Ямаучи, являются ныне англичане, американцы и французы, все же сердце России для них бьется громче. И объяснил: именно великая русская литература открыла японцам мир.

«В сыртах не встретишь Геликона...»

Китайская водка легко сбивает нормального человека с толку.

«В сыртах не встретишь Геликона, на льдинах лавр не расцветет...»

Атаман потел. Атаман прикосолапывал. «Хузгай язык, хугуур», — произносил вдруг напевно. Утирал лоб ладонью. «У япсов нет Анакреона, к корейцам Тютчев не придет...» Заключал: «Танд тамхи байна уу... Шашку бы мне...»

Усы вразлет. Приземист, тяжел.

Но ведь и Наполеон не торчал над толпой.

«Хузгай! — шумно отплевывался. — Хайхалзах!»

Дед понимающе кивал. С пьяными всегда интересно. У них мысли разъезжаются во все стороны, как копыта на льду. «Ничто не оживет, если не умрет». Под ногами шуршат сухие листья. «Шашку бы мне».

«Мышей рубить?»

«Не дразни».

Григорий Михайлович шумно помочился у сиреневого куста.

Здоров как бык. Пьяный, мощный. Неаккуратно заправил выбившуюся из-под пояса зеленую рубаху.

«Хурр!»

Генерал-лейтенант Семенов, атаман, а совсем недавно всего лишь хорунжий, родился в карауле Куранжа Дурулгуевской станицы Забайкальского казачьего войска. Там только горы и степь, ничего больше. Вырос в простоте, в пыли, в просторе. Потом Оренбург, юнкерское училище. Хорунжим бы и остался, если бы не нужда белого движения в людях смелых и понимающих.

Впрочем, адмирала Колчака атаман почитал бездарностью.

«В лужах ему барахтаться. Российское золото растерял».

Лукавил, конечно. Япсы (и не только) хорошо знали, в чьи руки попало растерянное адмиралом российское золото, ну а сам Григорий Михайлович знал об этом ничуть не хуже, чем япсы, потому и нянчились с ним.

До Большой войны Семенов занимался военной топографией.

При отменном хороших отношениях бывшего хорунжего с бурятами и монголами (с малых лет рос с ними вместе) дела шли хорошо. Со всем уважением, со всею точностью перевел с русского на бурятский, потом на монгольский «Устав кавалерийской службы», а потом Пушкина с Тютчевым.

Пусть знают то, что знаем мы.



Прилизанные реденеющие волосы, наглые усы, глаза наглые.

«Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы!» Петербургского поэта Блока ценил, но повесил бы; он сам знает, за что.

Гордился своими боевыми частями.

Вон пылят пешие колонны. Вон за ними пылит конная вольница.

Сам умел лихо при въезде в какое село на рысях подколоть свинью и еще у живой на скорую руку отхватить шашкой окорок.

«Шашку бы мне!»

Все мы — узники в Господе.

При этом все, конечно, за возрождение России.

Командир белого броневоего поезда «Мститель» устроил драку в Хабаровске с пешими американцами — за возрождение России. В Харбине в кафе в упор застрелили белого полковника, неуважительно отнесшегося к атаману Семенову (хватит, мол, с нас феодализма), — за возрождение. В Чите открыто радовались расстрелу Верховного — тоже за возрождение.

В августе сорок пятого года опытный японский летчик, переправлявший атамана в некий пункт назначения, по ошибке (разумеется, по ошибке, кто будет спорить?) — покачивал головой Дед) посадил воздушную машину на маньчжурском аэродроме, уже занятом советскими войсками.

Дед к слухам прислушивался.

О нем самом ходили разные слухи.

Пьет неумеренно. Увлекается чрезмерно.

Во Владивостоке увлекся «графиней» Ланской, на которую уже к тому времени было заведено не одно тайное дело, даже большевиками. В марте двадцать первого громко выступил на несоциалистическом съезде в том же Владивостоке, обещал братьям Меркуловым войти в тройку Приамурского правительства, правда, в итоге получил всего лишь должность уполномоченного по информации.

И прекрасно.

Тут же запустил «Вечернюю газету».

Тут же разработал и выпустил «Вестник Приамурского Временного Правительства», «Русский край», а к ним — «Известия Временного Правительства».

Конечно, успех привлекает.

Но с тою же силой успех отталкивает.

Узколобый белый полковник Колесников, бывший офицер Генштаба, открыто называл Деда «немецким агентом», утверждал, что никакой он не журналист, а просто самозванец, попросту «немецкий военнопленный, окончивший когда-то Гейдельбергский университет».

Разное говорили о Дede.

То, например, что книги, написанные им, внимательно изучают в Северной стране (большевики, понятно), а китайский маршал Чжан Цзунчан («Генерал Собачье Мясо»), главный милитарист Китая, упорно зовет его в советники, а Харбинский пединститут широко открывает



свои аудитории для философских лекций Деда, а китайский официоз «Гун бао» (газета, полностью переданная в руки Деда) ничуть не гнушается поступлениями от разных заинтересованных сторон, может, даже из Северной страны. И вообще: «Авторы, желающие остаться неизвестными, могут присылать рукописи неподписанными, что не будет служить препятствием к их напечатанию».

Дед прислушивался, присматривался.

Остзейский барон фон Унгерн, Роман Федорович, неожиданно взял Ургу, отнял у красных Монголию, может, с ним можно вернуться в Москву?

В Шанхае стал заглядывать в советское консульство.

«Хотите писать для наших изданий?»

«А денежная поддержка?»

«Не без этого».

Он писал.

О якутской авантюре Пепеляева писал, о загадочных играх атамана Семенова с япсами, о тайнах пропавшего российского золота. Не обходил вниманием фашистские симпатии профессора Устрялова и мрачный Союз Фашистских Крошек бывшего лютого комсомольца Родзаевского.

В Харбине тесно.

В кафе Устрялов подсаживался за столик Деда.

Русая ухоженная борода, чистый негромкий голос.

Но говорил уверенно. Мир, говорил, нуждается в большой силе. Сейчас любой разброд в мыслях — гибель. Только большая сила спасет мир. Держался Николай Васильевич как шен-ши, человек знающий.

Советовал: «Уезжайте».

«Куда уезжать?»

«В Шанхай!»

Ах, Шанхай!

Там река Янцзы.

Там море цветных огней.

Устрялов шутил: «Чем душатся женщины в Шанхае?» Сам же негромко пояснял (милая профессорская улыбка): «Веревкой».

Ах, Шанхай! Золотой город.

Ах, Шанхай, мечта деятельного человека!

Там у входа в ресторан стоит (для приманки робкого посетителя) человек с когтями тигра на поясе. Вчера стоял, сегодня, завтра стоять будет. Поднебесная терпелива. Цин цин. В золотом Шанхае собираются очень разные люди. Там можно встретить даже динлина. У этих потомков хуннов книзу от коленей растет длинная шерсть, и копыта у них — вместо ступней. Один молодой китайский историк по имени У рассказал Деду о Рабиндранате Тагоре, посещавшем Поднебесную. Этот историк в разговоре с путешествующим индийским гостем будто бы заметил: «Вы, сенсей, только повторяете слова о всяких чудесных цветочках и о пестрой радуге в небе, а нам, молодым, нужны дансинги и публичные дома».



Все со временем теряет вкус. Кроме любви, конечно.

Дед многие дни проводил в старой библиотеке Королевского азиатского общества; там встретил Зою Казакову, русскую артистку. Не в театре, не в концерте, а в старой библиотеке.

«Ты — мое событие!»

Нирвана — это не угасание света свечи.

Нирвана — это растворение света свечи в свете дня.

Зоя говорила на чудесном, ранее неведомом языке. Зоя произносила чудесные новые слова — вполне понятные, но полные еще какого-то скрытого смысла.

«И были оба нагие, и не стыдились».

В двадцать шестом, в Харбине, в маленьком издательстве «Бамбуковая роща» Дед напечатал книгу «Мы», в которой подвел итог некоторым размышлениям.

Конечно, речь снова шла о Северной стране.

По западным представлениям, все русские — невежи и самодуры.

По тем же западным представлениям, все русские — лживы, чванливы, безрассудны, они не думают о будущем, редко моют посуду, зато много времени проводят в банях. Все это указывает на то, что дома русские — не в Европе, а в Азии. Даже британец Киплинг настаивает на том, что русские — не самый восточный народ из западных, а самый западный из восточных.

Книга «Мы» не была романом.

Книга «Мы» была исследованием государственности.

Не надо бояться больших масштабов. Русские везде дома.

Вот и советовал шен-ши Николай Васильевич: перебирайтесь в Шанхай.

В Шанхае люди в золотых сапогах ходят. В Шанхае орды несущихся рычащих авто, там блистающие яркие вывески, дамы в животных мехах, рикши express. На людном перекрестке стоит человек в белом, на ногах — соломенные сандалии, на шее — связка денег из серебряной бумаги, в руке непременно веер из банановых листьев, и скорбь в глазах, глядящих сразу на две стороны.

В Шанхае — печенье из засахаренных цветов корицы, там сладкая каша из сердцевины лотоса, крошечные нежные пельмени с крабовым мясом, глазированные бананы с кунжутным семенем, длинные целебные тыквы, мелкий резкий чеснок и фрукты на цветочном меду, выбирай что хочешь. Шанхай — это не харбинские насквозь прокуренные редакции. Шанхай — это сонмы русских. Русская речь там еще не сломалась, не увяла в паутине повседневной скуки, не скукожилась огрызком яблока. В Шанхае швейцары, официанты, музыканты, бармены, бар-герлс, журналисты, чувственные дансинг-герлс, деловитые горничные, опытные дежурные на этажах в отелях — все русские, неважно, что выдают себя за шведов.

Над Французским парком — мачты радио.

Над серебряной рекой Ван-пу — дым пароходов.

В любом банке можно приобрести шестидолларовый многоцветный бон Шанхайского сберегательного общества и выиграть сразу тридцать тысяч долларов. Самогон у любого торговца гаоляном. Конечно, самогон везде одинаков, неважно, приготовлен из гнилья или первосортной пшеницы, зато есть везде. Пей, закусывай головкой горького лука, почувствуй себя здоровым. А если купленный в лавке утиный паштет покрылся плесенью, не торопись, не выбрасывай, поддержи этот паштет на пару, плохой запах исчезнет. В Шанхае сычуаньская капуста, соленая в деревянных пузатых бочках, толстые зеленые огурцы, красная редиска, белая дунганская редька, сладкий картофель.

Цин цин. Не беспокойтесь.

В кухонном шкафчике — курительные палочки, мягкое масло для свитильников, банка с хорошим светлым опиумом. Радость родителей: сын курит, значит, не убежит из дома. На улицах рябит от тканевых чулок, от синих штанов трубочками, от ярких перламутровых пуговиц. Иди улицей к речному мосту, там поет горбатый. Как его узнать? Ну, во-первых, он горбат, во-вторых, он притворяется зайкой, в-третьих, поет долгие куньшаньские песни. А если кто-то заболел, не траться на лекарства. Этого не надо. Просто вынеси заболевшего в сад. Если не умрет, непременно выживет.

В богатых домах много гостей.

В доме издателя Мао Ди поет русская артистка Казакова, красивая, как сунамитянка. Так не только Дед думал, глядя на Зою. Красивое всегда подобно красивому. Богатое тянется к богатому. Рис в доме богатого издателя Мао Ди подавали в старинных чашках с квадратным дном, а русскую артистку Казакову называли Хаймой, то есть Вредной Лошадью — за чудесный норов. На сцене Хайма срывала бурные аплодисменты, в богатых домах ее всегда ждали, а в иллюстрированном «Шанхайском базаре» Вредная Лошадь уверенно освещала бурную театральную жизнь.

Вера (жена Деда) не торопилась перебираться в Шанхай. Харбин был ей интереснее, Харбин был нужнее.

Вот и встретились Дед и Хайма.

Душистая, как конфета. Подарила Деду шелковый халат.

На столе в гостиничном номере Деда появилась плоская лакированная чашка, наполненная свежей водой, в ней — веточка в зеленых листьях.

«Ты мое событие!»

Конечно, Вера узнала обо всем.

Но к этому времени у нее была уже своя жизнь.

Зоя была Вере неинтересна. Плодитесь и размножайтесь.

Непорядочная? (Это про Зою.) Да ну. Порядочная или непорядочная — после страшного Ледяного похода эти определения потеряли смысл. Не наестся бы ненужного, твою мать. И вообще. Хочешь радоваться, а тебе предлагают брюнетку.

Вернуться!

Сколько ждать?

Ничего не происходит. Жизнь происходит.

Но однажды день наступил. Дед позвонил в знакомую дверь.

Открыла Зоя.

С порога, обняв, выдохнул: «Едем!»

Всплеснула руками, обрадовалась. Как раз вчера вечером говорили о поездке в Собрание, там Вертинский поет. «Мадам, уже падают листья...» Столько сладкой тоски. Не сразу поняла Деда, восклицавшего: «Северная страна!»

Зоя, худенькая, в кружевах и в бантах.

Никак не могла понять: «Северная?»

Дед торжествовал. «Едем!» Он привык к тому, что все русские в Шанхае, в Харбине, в Пекине, в Чунцине, в Чэнду, по всей Поднебесной, да хоть по всей соседней Корее, по всей островной Японии, все эти русские, сюда когда-то стремившиеся, пережившие омский исход и прозрачные прозрачные льды Байкала, потерявшие все, что имели, потерявшие все, чего даже не имели, думали только о возвращении.

Это вам не «Роза подо льдом» Сережи Ауслендера.

Вера бы собралась.

Но Зоя...

«Дочь царя Ши, опьянев, отослала царевича Цзиня. Ну а царевич учтив и прекрасен сверх меры. С юношей, полным любви, грубо так обойтись — разве сладится дело?»

Одна из любимых ее ролей.

Не выдержала. «В Северную страну?»

А я? — закричала. Буду ждать тебя скучными вечерами в коммунальной квартире в дешевом бумазейном халатике? В домашних шлепанцах, пошитых пьющим соседом? В черных чулках гармоникой?

И разразилась словами, которые даже Дед старался не произносить при женщинах и лошадях. Твою мать! Какая Северная страна? Я вернусь с тобой и буду вечерами перешивать свои старые платья? Потом тебя посадят, а я буду носить тебе передачи? Твою мать! Мне же говорили, что любой человек с улицы лучше писателя. Хочешь жить в родной речи? А спросил, где лежит мой отец — белый полковник Казаков? А если в твоей Северной стране нашими соседями по коммунальной квартире окажутся те самые мужики, что сожгли под Орлом поместье моего деда? Твою мать. Твою мать. Сто склонений на одну тему. Сотня проклятий и непристойностей — на русском, китайском и на японском. В Северную страну? Да кому мы нужны? Мы и в Шанхае никому не нужны, но в Шанхае нас хотя бы много. Зачем тебе Северная страна? Там тебе не позволят спать с артистками, там у тебя будет только жена — по расписанию. Там ты будешь носить желтый портфель, купишь резиновые калоши. Никакого опиума, трудовой вахты достаточно.

Сама ужаснулась.

А он ждал восторгов.

Твою мать! Ведь открыла дверь.
А сказала? Два слова. «Ну, ступай!»
И это все о Вредной Лошади.

Кстати, Дед никогда не рассказывал Марье Ивановне (раковинке его души) о своих бывших женах. Правда, Марья Ивановна ими и не особенно интересовалась. Только однажды (случайно) заглянула в тетрадь. «Я и Зоя. — Дед утром записал сон. — В каком-то поезде. Дымно, грязно. Остановка. Названия не помню. Я вышел. Зоя осталась».

Дальше читать не стала.

Но за обедом спросила: «Что пишешь?»

Ответил (думал о чем-то своем): «Роман...»

Ну, роман, это ладно. Приятель Деда (Васька Ажаев) тоже написал роман.

Целая бригада московских редакторов работала над записками Васьки Ажаева, бывшего заключенного. Начальник лагеря превратился под перьями опытных спецов в умелого знающего инженера, зэки — в обычный трудовой элемент, хотя какая, в сущности, разница, если важнейший трубопровод проложен.

Сталинская премия!

«А о чем твой роман?»

«Наверно, о прошлом...»

«О твоём?» — поежилась.

«О нашем», — подчеркнул.

«Зачем тебе такое? Пусть прошлым занимаются ученые историки».

Ученые историки! Дед недовольно постучал палкой в пол.

Настоящие историки далеко. Пьют самогон в Шанхае, паром горячим отгоняют злых духов от испорченного паштета в Харбине. В Шанхае — Кропоткин, скатившийся к историческим анекдотам, в пыльном Харбине — златоуст Иванов, на глазах перерождающийся в нациста. Ну а в Пекине профессор Широкогоров — тщательно специальной линейкой измеряет дикарские черепа.

Что они понимают в живой истории?

Накануне нового одна тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года случилось неожиданное. Вызвали Деда в крайисполком и вручили ключи от отдельной квартиры. Даже Пудель, черный (волосами), милейший, все понимающий Дмитрий Николаевич, был потрясен. Сами вызвали, сами вручили! Ключи! От отдельной квартиры. И кому? Бывшему белоэмигранту! Да, раскаявшийся, не спорим. Но другие (более достойные, не будем скрывать) встречают новый год в переполненных коммуналах...

Но погоду Пудель прекрасно чувствовал.

Сам предупредил: переезжайте!

Ну и что, что под самый праздник?

Вот ненароком заберется в вашу отдельную квартиру отчаявшаяся какая-нибудь мамаша, втащит коляску с ребеночком, вы что, выкинете эту мамашу на мороз?

Дед твердо ответил: «Не выкину».

И отправился искать грузовую машину.

Хабаровск в веселых новогодних огнях. Счастливые граждане несут из гастрономов авоськи с водкой и закусками. За пару часов Дед, Пудель и Хунхуз (Владимир Васильевич, сын убитого япсами партизана) перевезли в двухкомнатную квартиру на Карла Маркса раскладушку, стол, три стула, несколько пачек книг, какую-то посуду. Марья Ивановна, оставленная Маша с Кочек, раковинка души, суровая подружка, держала руку на своем громко бьющемся сердце, не верила случившемуся, боялась поверить (неужели и партбилет вернут?), только поглаживала огрубевшими от работы пальцами трубку телефона — подумать только! и телефон!

Резала колбасу, подогревала что-то на сковородке.

Пудель, кстати, оказался умельцем: врезал второй замок.

Две большие комнаты, второй этаж, вода горячая круглый день.

Хохотали, выпив по первой. Вот какие забавные в наших газетах бывают предупреждения. «Рубить сосны на елки воспрещается». Сразу выпили за волшебный русский язык. Все равно на лице бритого Хунхуза читалось мрачное непонимание. Да как же так? Бывшая белая морда, адмиральский пропагандист, любимый пресс-атташе Верховного, а ему не по рогам, а отдельную квартиру! Подумаешь, пишет. Все мы пишем. Что в этом такого? Сам по себе думай, что хочешь, это пожалуйста, но народ пусть думает одинаково.

Совсем запутался в мыслях.

Вспомнил, как в сентябре на читательской конференции Марья Ивановна возмущалась, показывала собравшимся книги с варварски вырезанными, даже вырванными страницами.

«Что же это такое делается?»

А из зала: «У вас в библиотеке душно».

А из зала: «У вас невозможно в такой духоте вчитываться в труды классиков».

Кто-то даже бросил: «У вас реакционный Бердяев в каталоге». А крепкий бравый усатый старшина с речной амурской флотилии (в форме) кулаком стукнул по ручке кресла: «Почему у вас выдают студентам немецкие книги? Студенты язык учат? Ну и что? Мы — народ-победитель, пусть учат по нашим учебникам!»

Дед уверенно провозгласил: «За новую жизнь!»

Избыточный, крепкий, посмеивался, знал: теперь в новой жизни вообще все будет по-новому. В ней, в этой новой жизни (даже если мы до нее сами не доживем) обязательно будут просторные прохладные библиотеки, никто не будет из книг выдирать картинки, читай на любом языке, а в высоких нишах — мраморные герои.

Утром записал в дневник свои мысли.

Знал, что Пудель прочтет. Но это ничего. Пусть читает.

Дмитрий Николаевич даже реакционного Бердяева читал, пусть и мои записки читает, раз этого служба требует. «Злоба да обманы, хи-



тлость да насилия. Грозные Иваны, Темные Василии». Может, и для души что найдется.

Думал иногда: а не случись семнадцатого года?

С Машей все-таки такие темы не обсуждал, но Барянов заходил, с полковником говорили. Как два полковника. «Да говори, что хочешь, — смеялся Барянов. — Нам все равно, кто что говорит. Нам важнее знать, кто что думает».

В первую ночь в новой квартире Дед долго не мог уснуть.

Все пытался представить. Ну вот... Ну не сдали бы красным Омск... Больше того, сами двинулись бы на запад, разогнали орду Тухачевского. Союзники рядом. Путь на Москву открыт.

А потом что?

Мучился этим *потом*.

Что, Аня бы из Костромы не ушла в свой монастырь? А Блок и Максим Горький были бы повешены адмиралом где-нибудь на Страстной площади — на глазах у бронзового поэта А. С. Пушкина? Лошади, не погибшие на байкальском льду, покойно паслись бы на заливных лугах? Марья Ивановна не уехала бы из Ойротии? А Вера, где бы она сейчас растила нашего Гришкю? Чьи стихи на бурятский язык переводил бы атаман Семенов? А братья Пепеляевы? А генерал Сахаров? А генерал Каппель? Да тот же адмирал. Неужели не было бы ран, отмороженных ног, потерянного российского золота? И молодой жене поручика Князева голой не пришлось бы путешествовать в розвальнях по Сибири? И Китая бы не было?

Вдруг обжигало сердце: Зои бы не было!

Свобода! Равенство! Братство!

Вдруг ожесточился.

Что за вздор?

Проститутки и девственницы, ученые и невежи, погромщики и святые, дураки и гении, адмиралы и палубные матросы, вожди и домохозяйки, пациенты и врачи, грабители и их жертвы — они все равны?

От водки и событий в голове все путалось.

Вернулся Вертинский в Северную страну... Васька Ажаев вместо креста на великой стройке получил Сталинскую премию... Ал. Фадеев, генеральный секретарь великой советской литературы, в очередной раз запил... Это все ничего... За каждым уверенно присматривают полковники Баряновы.

А дружба с Пуделем помогала Деду решить вопросы с поездками.

Хотел видеть людей. Хотел видеть своих возможных читателей. Ведь рано или поздно начнут выходить у него книги. На кого ориентироваться, к кому прислушиваться? Все же человек с улицы не так врет, как сосед по коммуналке.

Дневники заполнялись записями и рисунками.

Вот летчица Шарова. Это — Комсомольск-на-Амуре.

Город серых ватников, стремительных самолетов, больших заводов, литых чугунных решеток, кирпичных казарм и деревянных бара-

ков. Фото плотной смеющейся тети Фени из Краснознаменки. Бегали там еще какие-то скорострельные бабы, одна тетя Феня понимала жизнь правильно. Водила Деда по ягоды. Кусты, заросли, тишина, ни птиц, ни зверья, комары звенят, под кочками унылая вода. Это вам не клен на одной ноге. Это природа во всем ее вековом бессердечии.

Была поездка в Свердловск.

В купе поезда дама в пижамных штанах.

Муж не то чтобы ревнив, но смотрит зверем.

Матрос в тельняшке (вырвался на материк) бегаёт по коридору.

Среди зарисовок Свердловска — здоровенный парень с тяжелой совковой лопатой на плече. Под низкими облаками — трубы Уралмаша, округлые горюшки, увалы, сосны. В темных лоштинках — плитняк, будто набросаны кости каких доисторических тварей. Люди не столько живут, сколько дружно выполняют план. В гостиничном номере, думая об увиденном, расчертил страничку тетради надвое. Под вопросом «Что могу?» мелко указал: «Две мои последние авантюры».

Указал. На левой стороне: *стать советским писателем*. На правой: *умереть*.

И вдруг (бывает такое) позвонил Хунхуз, пораженно крикнул в трубку (с завистью): «Твоя рукопись рассматривается в Союзе писателей, в Москве».

Декабрь сорок седьмого, кажется.

Хунхуз понять не мог, как это рукопись Деда проскочила в столицу мимо него.

Но расспрашивать не стал, хватило ума, только многозначительно пообещал: «Теперь поедешь в столицу». И добавил: «Буду настаивать на твоей поездке».

А чего настаивать? Решение, похоже, без него приняли.

Новости, новости, новости. Вот репродуктор пыхтит о конверсии денежного обращения. И то! Карточки хлебные отменили, на рынке все подряд сметают, в ресторане не дождешься свободного столика. Дед остро чувствовал: *он вернулся!* Он все сделал правильно. Скоро и книги его начнут появляться. Полковник Барянов не устает повторять: «Тебе бы ленинизма немножечко...»

Нелегкая это доля — служить народу.

Маша, подружка верная, наставляла, просветляла.

Не до всего сам дойдешь, работники библиотек о многом знают лучше, чем писатели. О литературных запретах, к примеру. Сильно над этим не задумывайся, указывала Маша, все равно не поймешь, что именно завтра пойдет в спецхран. Запрещались даже книги Александра Герцена — не за мысли его, а за статьи комментаторов, репрессированных неко времени. Уходили в спецхран педагогические сочинения Добролюбова — за предисловия, написанные врагом народа Каменевым. Замечательную книжку «Язык Ленина» («Одиннадцать приемов ленинской речи») отправили на полки спецхрана из-за слишком частого и неправильно акцентированного имени Льва Троцкого.

Даже знаменитого Михаила Кольцова запрещали.

Ну да, того самого, что в двадцать восьмом клял Деда в большевистской «Правде» за неправильное отношение к революции.

Ну, ладно... То время — в прошлом...

Уже у себя в кабинете открыл полученную от Маши папку — в реальное, нынешнее время вернулся.

Работы на семинар.

Фамилии знакомые и незнакомые.

Суржиков. Этот везде успеет... Волкова. Не знаю, посмотрим...

Козлов. Этого совсем не знаю... Князцев. Вдруг кольнуло. Что-то из прошлого... Игорь Кочергин. Про него слышал. Зверь ингровый, пьет много... Ниточкин, Пшонкин-Родин, Виноградский, Хахлов, Нина Рожкова. Всё какие-то мухортые фамилии.

И Лев Пушкарёв.

Взвесил на руке рукопись.

Этот с Сахалина, раньше жил на станции Тайга.

И снова что-то кольнуло в сердце. Снова — из прошлого.

Снежное поле, у обочины — мерзлые трупы, книга в мертвой руке.

Вера потом долго удивлялась: «Ты не посмотрел?»

Не до того было.

«Гуманная педагогика».

Вот какое название придумал Лев Пушкарёв из Тайги.

Дед устроился в кресле. Любил читать в кресле. Любил свой кабинет. Любил свой большой письменный стол благородного темного цвета. В тумбах стола — масса ящиков и ящичков, есть секретные. На стене кабинета — карта распространения народов, на полу — книги, не хватает места на полках. В простенке настенный календарь, посвященный дому Романовых. Карамзин, Ключевский, Соловьев, Платонов, Забелин руку приложили. Перов, Репин, Ге, Лебедев, Суриков, Лансере в стороне не остались. Стилизованные заставки, прихотливые концовки, причудливые орнаменты. Конечно, Дмитрий Николаевич Пудель ворчит, зато Первый знает: не растянута в кабинете бывшего эмигранта бело-зеленое знамя.

Лев Пушкарёв.

Станция Тайга.

Ничего особенного, наверное.

Этот Пушкарёв, наверное, из тех молодых людей, что твердо убеждены: настоящая история Северной страны, России, началась только в семнадцатом году.

Задержал взгляд на машинописной странице.

«Тихонько приоткрыл ворота пустого сарая. На оклик: “Есть кто живой?” — не откликнулись ни живой, ни мертвый. Щекотало в ноздрях от запаха сухой соломы и пыли, даже чихнул. Куры за невидимой стеной заволновались. Возились, беспокоились, сонно квохтали. Наверное, и петухи были там с ними, не знаю, просто вспомнил детские стихи о том, как с петухами ходила по деревне клуша, прятала их в дождь под свои крылья»

(совсем малые были петухи), а они очень луж не любили, предпочитали умываться пылью, и все такое прочее».

И дальше, наверно, все такое прочее.

Вдруг вспомнил, как мотался с Хунхузом по Амуру.

Ночь. Низкая луна. Мотор катера постукивает. Черные горы на близком правом берегу, левого не видно. Из темноты возникают рыбачьи лодки. Медленно высветилось к утру низкое небо — зеленое, как яшма. Пронзительная звезда вспыхивала и гасла на юге, сказочно проявлялись горы.

И везде — спокойствие!

Господи, какое спокойствие!

Не ради ли этого бежал от Перми до Харбина?

Впрочем, Дед никогда нигде не чувствовал себя чужим.

«Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы!» Все мое. Везде выживу.

И снежное поле под Тайгой, и горящие пермские леса, и шанхайское ночное зарево, и голубизна Золотого Рога — все мое.

Листал рукопись.

«Первым был сотворен человек...»

«По учению философа Платона, вселенная двойственна...»

Оказывается, этот Лев Пушкарёв, что жил на железнодорожной станции Тайга, интересовался философией.

«Вселенная Платона объемлет два мира — мир идей и мир вещей. Идеи мы постигаем разумом, вещи — чувствуем. У человека три души: бессмертная и две смертные: мужская — мощная, энергичная, женская — слабая, податливая. Развитие человека происходит за счет деградации этих душ. Животные — это такая своеобразная форма наказания. Люди, упражняющие не бессмертную, а только смертную часть своей души, при втором рождении превращаются в четвероногих, ну а те, кто своим тупоумием превзошел даже четвероногих, оказываются пресмыкающимися...»

Отложил рукопись.

Подошел к ночному окну.

Туманные огни на улице Карла Маркса.

«Ну а те, кто своим тупоумием превзошел даже четвероногих...»

Ладно. Это потом. Это все потом. Сейчас — спать. Маша, подружка, раковинка моей души, давно легла. *Стать советским писателем или умереть?* Не торопись. Если в горящих лесах Перми не умер, если на выметенном ветрами стеклянном льду Байкала не замерз, если выжил в бесконечном пыльном Китае, принимай все как должно. Придет время, твою мать, и вселенский коммунизм, как зеленые ветви, тепло обовьет сердца всех людей, всю нашу Северную страну, всю нашу планету. Огромное теплое чудесное дерево, живое — на зависть. Такое огромное, такое живое, что, кутаясь в его зеленых ветвях, можно не бояться мороза и ливней.

(Продолжение следует.)

Василий МАТОНИН

ПРОДУВНЫЕ ВЕТРА

* * *

Ты замри и послушай
Шум столичной глуши.
Море вышло на сушу
От прилива души.
На космическом лоне
Среди каменных глыб
Сеть торговая ловит
Покупателей-рыб.
Солнца нет и не будет,
Разве только с утра
Насвистят себе люди
Продувные ветра.

* * *

Не от формы иду к содержанию,
Но от фермы вблизи МТС,
От мычания и конского ржания —
В золотой нержавеющей лес
Бесконечным раздолбанным трактором,
Где остались от мирных атак
Тень комбайна, разобранный трактор
И забытый военными танк.
Возле линий разорванной связи,
По угору у всех на виду,
Взят из грязи, шагаю по грязи —
К содержанью без формы иду.

* * *

Что пришло и осталось,
 Поселилось во мне?
 Вековая усталость
 Придорожных камней.
 Не мое это время,
 Да и коротки дни!
 Я случайно, на время,
 Стал таким, как они,
 И в безлюдном просторе
 Слышу прошлого гул,
 Будто плещется море
 На чужом берегу.

* * *

Обниму таинственную землю.
 Под прозрачным пологом усну,
 И увижу трав веселых зелень,
 И услышу раннюю весну.
 Закричат встревоженные птицы,
 С горних сфер опустится мороз.
 Ни друзей, ни книг не пригодится
 Среди мелких елей и берез.
 Разве я кого-нибудь ограбил?
 Обманул бессовестно, убил?
 Вы меня простите, Христа ради,
 Аще бо щедрот не возлюбил
 Паче долга. Дел не переделал,
 Мир не спас и людям не помог.
 Где душа — не ведаю, а тело —
 Куст черники и болотный мох.

* * *

Никто ничего не помнит
 И знать ни о чем не хочет.
 Куда нас теченьем гонит?
 Что дымный закат пророчит?
 Третье тысячелетье
 По правилам непреложным
 Блуждает осенний ветер
 Между простым и сложным.

Прости меня, Боже правый.
 В текущие глядя воды,
 Вдоль берега бродят травы,
 Но не находят брода.

* * *

— Ну, как идут у вас дела?
 — Вчера под вечер было хуже.
 А нынче мгла — уже не мгла,
 И стужа вроде бы не стужа.
 От снега улица бела.
 Вот так идут мои дела.

* * *

Я не верю приметам
 Ни плохим, ни хорошим.
 Разве жаркое лето
 Предвещало порошу?
 Не присев на дорогу,
 Не допив стременную,
 Ухожу понемногу
 В ту страну золотую,
 Где, кленовые листья
 По аллее сметая,
 Ветер бродит, неистов,
 Где утиная стая
 Стала вдруг многоточьем,
 А вопросы — ответом.
 — Я, ты знаешь, не очень
 Доверяю приметам.

* * *

Если в стену вглядеться, то в ней
 Различимы фигуры людей,
 Двухголовая хищная птица
 И друзей удивленные лица.
 Если в чистое небо взглянуть,
 В нем реки продолжается путь.
 Ночью в омут окна не смотри —
 Отраженье ладонью сотри.

* * *

Нравится быть бедовым
 Или казаться им.
 Путь между мной и домом
 Снова непроходим.
 Ямы, ухабы, лужи
 Стали крошечной тьмой.
 Ждал я себя на ужин,
 Но не дошел домой.
 Этой весной недружной
 Будет ли мир в душе?
 Все, что мне было нужно,
 Я потерял уже.

* * *

Денег нет, а выживать-то надо!
 На чаёк с устатку нажимать,
 Солнце принимая как награду,
 Хлеб — как милость, сон — как благодать.
 Так оно и должно быть, а как же?
 Век трудись да рано не ложись.
 Я не пью, а утоляю жажду.
 Не пою, а вспоминаю жизнь.

* * *

Мы понемногу вышли на дорогу.
 Дорога в бездорожье привела,
 И горизонт финалу иль прологу
 Подвел черту под контуром села.
 Закат закатит споры о ночлеге,
 Восход предвосхищает — о душе.
 — На полпути к бессмертию, коллеги,
 Ни жизни нет, ни смерти нет уже.

* * *

Образ жизни — неправильный!
 Образ мыслей — тем более.
 Я не пьяный, а раненный
 Неизбывною болью.

Русский с кровью татарскою
И цыганской душой,
То скуплюсь, а то барствую
У дороги большой.

На равнинах отечества
В непроглядной ночи
Бродят тени купечества,
А оратай кричит
То частушки простецкие,
Отпевая всех нас,
То страданья советские,
Превращенные в фарс.

* * *

Я остался отныне
И ни с кем, и нигде.
Не песчинка в пустыне
И не капля в воде.
Замерзаю со всеми,
Но совсем не умру —
В землю павшее семя
На осеннем ветру.

* * *

Не на время пространство меняя,
А на бремя нелегкое лет,
Шел по жизни, себя изменяя,
Направляя в грядущее след.
Исправляя чужие ошибки,
Непрестанно грешил и грешил.
Да, ни шатко ни валко, не шибко
На земле остывающей жил.



Володя ЗЛОБИН

ОТЕЦ ЛЖИ

П о в е с т ь

Как, уже утро?

Зима, темно... по окну не распознать время. Может, ночь? Не хочется включать телефон. На него опять что-нибудь накидали. Нет, еще рано. Еще можно поспать. Главное — не вслушиваться, как в снегу забуксовала машина. И это не чьи-то шаги, — это ветка зацепилась за трубу.

Неужели утро?

Сейчас войдет мать, зажжет свет, скажет: «Вставай, опоздаешь!» — а ведь уже два месяца вставалось до ее прихода. Повернешься во сне, вздрогнешь и откроешь глаза...

— Вставай, опоздаешь! — В комнате показывается только ее рука.

Дальше — ванная, из которой выгонят криком: «Опять засел? Завтрак на столе!» Засел... будто дело в кишечнике. Проснувшийся телефон трясется. Под шум воды нужно быстро стереть все сообщения. Однажды от мокрых пальцев телефон закоротит и он сломается, оставив сердце в блаженном неведении. И больше не будет утреннего оцепенения в согбенной позе, а следом — надоевших кухонных расспросов:

— Почему лицо красное? Давление? Опять полночи в телефоне просидел?

Приходится отнекиваться, пожимать плечами, врать:

— Да все нормально.

— Раз нормально — ешь давай. Чтобы все съел!

Молоко, хлопья, два бутерброда с сыром. Второй часто остается недоеденным, и его потом отправляет в рот отец.

Отец просыпается с утробным мужским клокотанием. Сначала долго лежит, отхаркиваясь, а потом выходит из комнаты, весь целиком, — усатый, розовый, пузатый, и сразу, вместо ванной, подсаживается к столу и уминает булки сонным, нераскрывшимся лицом. Соринки после сна, крошки от хлеба — все падает на живот, а потом теряется в безразмерных трусах, бодро натянутых до пупка. В такие моменты наступает уважительное, немного неловкое молчание. Хочется быть как этот сильный мужчина, краснота которого не вызывает покровительственных женских вопросов, а наоборот — влечет, растопляет.

— Ну что? — насытившись, обычно начинает отец. — Девятый класс уже. Еще два года — и в свободное плавание. Разойдемся, как в море корабли.

Еще два года. Два года! Еще не закончился этот год... Еще только вторая четверть!..

— Пойдешь в солдаты, Родину защищать?

— Что ты такое говоришь! — Мать всплескивает руками. — В какие еще солдаты?! Институт!

— А что я? Верхнего образования не имею, дом мой — казарма, укрываюсь полковым знаменем!

С густых усов осыпаются крошки. Отец так смеется. Он всегда говорит из глубины, добывая оттуда забытую словесную породу: «огузок», «алга», «шлеппер», «с глузду», «кухтырь», «зябрь», «макинтош»... Это *иные* слова, собранные отовсюду, они показывают пройденную *иначе* жизнь.

— Иди уже, опоздаешь, — торопит мать.

Она всегда так — боится опоздать, хотя сама сидит на хозяйстве. Переживает, что кто-нибудь куда-нибудь не успеет, как она не успевает все выстирать и погладить. Наверное, из-за этого страха мать вышла за человека, который так широк и уверен. Отец даже на работу нарочно уходит поздно, будто делает своему начальнику одолжение. Впрочем, он тоже любит повторять, что опаздывать не принято. Так и говорит: «не принято», будто речь не об охранный фирме, а о светских приемах, на которые он привык захаживать.

Конечно, отец может не спешить. Ему ведь не надо в школу.

До нее ровно сто сорок шагов. Вон она стоит, отвратительно розовая, будто опухшая десна, — на чужие деньги вставила пластиковые зубы. На крыше — оцинкованные грибы, которые невозможно собрать. Ночью свет от ее негаснущих коридоров дотягивается до подоконника комнаты. Он сливается с фонарями, лучится в снегу, прыгает с металлического ската на потолок, плавает там размытыми холодными призраками, не дает уснуть. Экономный люминесцентный свет коридоров, подвалов. Так светят в морге и из иных миров. Еще школу слышно, она почти как живая. Почти — потому что от нее не пахнет. Почему школа не пахнет, если пахнет библиотека, больница или детский сад? Ста сорока шагов мало, чтобы понять.

Ноги деревенеют. Каждый шаг медленнее предыдущего. Каждая мысль печальней предшествующей. Может, опоздать? Можно ли опоздать *совсем* — если никуда не хочется?

В гардеробе зеркало на полстены. Туда лучше не смотреть — увидишь длинное, худое, бледное, как будто просвечивающее. Гардеробщица выдает номерок нехотя: она не любит тех, кто подбегает к ней с холодом и запахом табака. И то, что сейчас не пахнет, а женщина уже заранее нахмурилась, заставляет ее оправдываться в раздражении:

— Опять опоздал!

Это не так. За два месяца не было ни одного опоздания. Фокус в том, чтобы прийти вовремя — если не с точностью до секунды, то хотя бы



секунд за пять, за десять до звонка. Чтобы уже по пустому коридору, после уже зашедшего учителя. Пол пружинит, гнется старым вышарканным линолеумом, который проминается туго, будто под ним нарывы. Если надавить ногой в уже пустом коридоре, то там, внизу, что-то заноеет, потянется и отзовется, захочет лопнуть, брызнуть, высвободиться.

И когда отворил дверь, когда вошел — оттуда, с задних парт и у окна, — нарочито радостные улыбки.

Дождались. Пришел.

Математика — хороший урок. Учительница большая и строгая. Ее грудной голос накатывает долгой морской волной, неосторожный болтун захлебывается, идет ко дну и вместо возражений беззвучно разевает рот. Поворачивается учительница медленно, тяжело, в тесном воротничке вздувается мощная шея. Такие люди не привыкли шутить. Да и с ними никто не шутит.

На математике хорошо.

Перемену надо где-нибудь пересидеть. Лучше всего на запасной лестнице, между третьим и четвертым этажами. Наверх, в актовЫй зал, ходит только малышня, она несется веселым галдящим потоком, и уже не так одиноко, не так страшно. Они будут искать, но еще не прознали про это место — пробегут туалеты, заискивающе зайдут к классной, успеют посидеть на черных диванчиках в вестибюле. Там чаще всего и остаются с девками из восьмого, девятого, даже десятого. Раньше тоже хотелось остаться. Теперь — нет.

Биология — плохой урок. Учительница худая и слабосильная. Голос крикливый, он не поднимается из груди, а высоко режет из тонкого горла, и доводить биологичку смешно, как смешно доводить всякого истерика.

Она возбужденно рассказывает про онтогенез. Это мало кому интересно. Интересны ротанговая пальма и очковый медведь. Их нашли в учебнике сразу, еще на первой неделе. Сейчас нашли анализирующее скрещивание. Это тоже смешно. Сидящие сзади тут же пытаются его изобразить с теми, кто впереди.

Биология — плохой урок.

Допрос начинается только после столовой. Отгьеvшиеся, отсмотревшие все обновления, отославшие все сообщения, они ждут. Рукава закатаны по локоть. На предплечьях первые черные волоски.

— Чего бегаешь?

— Не бегаю. Просто...

— Что «просто»?

— Да там... дела.

— Какие? — Такой смех, будто дел быть не может.

Но ведь их и вправду нет.

Разговор пытаются раскатать вопросами, невинными и вроде бы искренними, но эти вопросы громки, они для всех. Девочки недовольно поворачиваются, фыркают, шепчут что-то осуждающе, но в их глазах интерес, там жар: они хотят увидеть, как вчерашние мальчики превра-

щаются в больших крепких мужчин. Лето между восьмым и девятым изменило все.

- Личку проверял?
 - Послушал, что скинули?
 - Будешь вписываться?
 - Девчонку нашел?
- Приходится мотать головой:
- Нет... нет... не знаю. Нет.

В ответ молча кивают, сдерживая смех, но это молчание нарочитое, намеренное, его хранят для пушшего эффекта. В нем подытоживают. Итог всегда озвучивает Толя Фурса, сонный гном, волосы которого висят длинными невымытыми патлами. Под глазами у Толи неоппадающие мешки, они оттягивают нижние веки вниз, отчего Фурса выглядит вечно удивленным.

- Мы тут обсудили один вопрос...
- Какой? — Ноги дрожат.

— Ну вот, опять начинается: «какой», «что»... Типа не в курсе, да? Выпилился из конфы. Не отвечаешь на то, что скидываем. Морозишься от нас, что ли? Это непорядочно. Скажи прямо: вписываешься или нет?

Ростом Фурса едва достает до подбородка. Сальные волосы стекают по неровному, в выбоинах, черепу. Когда-то Фурса сверзился с качелей и с тех пор стал немного заторможенным, но это только придает ему весомости в собственных глазах, будто окружающий мир и вправду может подождать. Постоянно сонный, немного припухший, невысокий и словно оплывший от важности, Толя произносит слова нехотя, вельможено, будто удивляясь самому себе.

- Ау! Вписка, бухло, бабы! Идешь? — не выдерживают со стороны.

Понятно, что разговор готовился загодя. Не ясно, как отвечать. На вписке опасней, чем в школе. Здесь учителя, люди, входы-выходы, открытое пространство. Вписка противоположна — она зажмет, окружит, придавит. Идти нельзя, но как об этом сказать?

Компашка смотрит, ждет. Фурса удивленно раскрывает рот, искренне оскорбленный молчанием.

— Да какая вписка! — вмешивается Копылов, грубый, квадратный: что в рост, что вширь. — Зацените эти штаны, туфли... Грязные, как у бомжары! В таких тупо на порог не пустят.

Толя Фурса замирает с глупым, рыбьим ртом. Не вмешиваются и остальные.

Филиппа Копылова все зовут только Фил. Никто не может иначе. Он самый сильный в классе, у него большие белые кулаки, развитая грудь, плечи, широкое лицо степняка. Он — *уже*, поэтому одноклассницы смотрят на него долго и жадно.

Копылов, говоря, повернут в телефон, он занят и знает, что ему ничего не ответят. Он не бросал вызов. Он тоже подытоживал.

В горле пересыхает. Раньше были лишь намеки, наводящие вопросы, смешки. Они еще позволяли не признавать очевидное и думать: мол, никакой травли нет, старые друзья — по-прежнему старые друзья,



которые просто шутят. А как только оскорбление бросят прямо в лицо, без писем с левых профилей, без скомканных бумажек на биологии, тут же — вот клятва! — получают в ответ...

Все, кроме Копылова, ждут.

Фурса заторможенно отступает к стенке и налетает на Вову Шамшикова. Пухлый отличник с густыми светлыми волосами застенчиво колукает подоконник. По телефону он общается мило и умно, но когда вместе со всеми, то он как все. Тихоня, издевается с оглядкой, полусшепотом, но, в отличие от других, глубоко, многозначно — над его остротами и правда можно смеяться.

Возле Шамшикова трется Антон Гапченко, вертлявый рыжик в прыщах. Он даже во время разборок беспокоится — может, забыл списать? Антон оттопыривает круглый зад, он весь подскок-отскок, и девчонки притворно визжат от его приставаний. Гапченко говорит так же, как прыгает, и тогда его прыщавое лицо ломается и кривится, не в силах удержать форму.

По-настоящему собран только Рома Чайкин. Ближайший, еще с первого класса, друг смотрит цепко, чуть брезгливо. Рома темен, у него черные глаза и волосы, он созрел и «озаботился» раньше других, вытолкав одноклассников из детства.

Их пятеро. Как пальцев. Кажется, что немного, но, когда пальцы вместе, они образуют кулак.

Большой палец — Шамшиков. Невысокий, пухленький, прикрывает остальных авторитетом своего дневника. Указательный — конечно, Гапченко. Он первый застрельщик, реагирует быстро, сразу. Средний, понятное дело, Копылов. Стержень, самый сильный, ось. Еще когда в началке на литературе читали «Филипка», никто не смеялся. Безымянный — Рома Чайкин, отстраненный и подмечающий. Он почти такого же роста, как и остальные, но стоит чуть в стороне, поэтому кажется выше. И Толя Фурса — мизинец, самый бесполезный палец, которого, если что, не жаль. Он меньше всех и потому с краю, вот-вот отпадет, из-за чего вынужден постоянно напоминать о себе.

— Ответ на предъяву или... — начинает Фурса.

Но его резко прерывает Копылов:

— Замолкни, тебя не спрашивали!

Толя Фурса оглушенно застывает, держит паузу, показывая, что это как бы и не ему вовсе, а затем аккуратно оглядывается: не услышали ли девочки, не пал ли кумир?

Слышали. Они все слышали. Они не пять пальцев. Они — остальная рука.

Может, именно это не дает ответить. Вот так, на глазах толпы, всегда сложнее, чем один на один. Если в подворотне, то да, есть шанс неожиданно налететь на Копылова, повалить в снег, ткнуть или пнуть. А так... тяжело. В животе льдина. Она тает и вот-вот побежит по ноге.

— Пойдем в класс, пацаны, — Фил лениво отлипает от подоконника, и Пальцы, проснувшись для шуток, семят на химию.

Дребезжит звонок. Мимо плывут девочки. Ни одна не оглянется, не посмотрит. Возвышенные и трепетные, чурающиеся грубых мальчишеских забав, они не успокоят, не скажут доброго слова. Носа достигает слабый, далекий запах духов. Девочкам не нужны неудачники. Их влечет пятерка превращающихся мужчин. Она и в класс вошла словно в джунгли или незнакомую реку. Это считывается мгновенно, как и то, что теперь все будет только хуже.

Намного хуже.

Травля началась незаметно. У нее не просматривалось причины, и это сбивало с толку, заставляло думать, что на самом деле все иначе. Ведь не было ни стукачества, ни подлости, ни зазнайства. Все как у всех: такие же увлечения, шутки, подписки, телосложение, достаток. Не к чему прикопаться.

Если причина крылась в теле, почему не травили Фурсу? Толя похож на камбалу, ему как будто сплющили голову, и он смешон в своей заторможенной важности. Он неразвитый, его легко побить. Но Толю никто не гнобил. Или Вова Шамшиков, раскормленный заботливой бабушкой, в гости к которой так здорово было ходить в младшей школе. Его пухлость не переходила в жирность, но достигала той критической отметки, за которой начинаются подтрунивания. У Гапченко лицо обсыпали крупные, вздувшиеся угри, и, когда Антон улыбался, они грозили прорваться. Это не мешало Тоше нырять в пруд из девчонок и находить там визжащий улов. Чайкина за его смуглость можно было дразнить «чуркой». Но никто не дразнил.

А еще были похожие телефоны, отцовская машина, сравнимая жилплощадь, обстановка из того же гипермаркета, что и у всего района. Может, чуть победнее — ну так Чайкин вообще из нищей семьи. А главное, что они все дружили с детства, с самого первого класса! И с восьмым прощались вместе, тепло, впервые по-взрослому накотив. И в девятый пришли, чтобы вместе смеяться на биологии. И смеялись. Первые несколько недель. А потом Пальцы стали смеяться иначе. Над чем-то другим.

Пальцы... в новом году они задвигались так, словно каждый наконец обнаружил свою врожденную функцию. Кто-то указывал, кто-то ставил «чили́м». За этим чувствовалась некая общая воля, что-то скрытое, глубинное, какой-то тайный ток крови. Механика Пальцев была частью чего-то большего, пробудившимся отростком древних желаний. Где-то рядом таилось остальное тело, оно сладостно проверяло свою мощь, незримо потягивалось и волило.

И Пальцы не могли устоять.

Обычно в изгоя превращаются долго: хищники присматриваются, заинтересованно бродят вокруг, покусывая с последней парты и на перемене. Человек всегда неуверен, поэтому проверяет потихоньку: начинает со слов, в которые допускает вольность; затем делает что-то намеренное, божась, что вышло случайно; подчиняет, пряча в просьбе приказ; под



конец предлагает подраться, зная, что другая сторона драться не будет; бьет...

В школе это выглядит так: насмешка, толчок, «купи вон ту булку», «ты что, попутал?» — и тут же, не ожидая ответа, удар. Вместо подножки может быть сброшенный с парты пенал, а предложение подраться протянется линейкой по спине, но смысл тот же: изгоем не становятся сразу, в изгоя превращаются постепенно.

С Пальцами вышло наоборот.

Как будто изгоем сначала провозгласили, а только потом сделали. Словно заранее знали ответы на все вопросы и уже не нужно было «водить по инстанциям». Решили, что экзамен провален, а значит, унижения заслуженны и справедливы. Сам же момент инициации оставался невыявленным. Где было неправильно? Куда нажать, чтобы вернуться?

С парнями из других, даже старших, классов честно блюлись рукопожатия и кивки. Если бы причина крылась во внешности, речи, поведении, поступках, травили бы все, а не только эти пятеро. Но у школы уже было несколько всеобщих изгоев — людей дерганных, замызганных, сразу обращающих на себя внимание. Их били, а они отвечали то глухо, то гулко, будто стучали в запертую дверь. Эти люди выглядели *иными*, отчего травля казалась вполне естественной, ибо непонятное всегда влечет и всегда страшит.

Однажды сто сорок шагов пришлось скоротать с одним из таких изгоев. На его одежде подсыхала свежая грязь, но он, не замечая порванной лямки и того, что рюкзак бьет по бедру, невидяще брел куда-то и разговаривал сам с собой. Многие люди так делают, но встречаются те, кому изнутри отвечает кто-то другой. В изгое пугало именно это.

Вдруг он повернул голову, посмотрел куда-то мимо и что-то сказал. Кольнуло сладким до изнеможения ужасом. Стало неудобно, а потом хорошо — значит, внутри не было зверя.

Может, это и стало причиной?

Мать опять недовольна:

— Почему телефон выключил? А если случится что?

Ей не объяснить, *что* на него приходит. Она вообще не понимает, *что* может прийти! С подделанным голосом, только притворяющееся человеком. Не говоря уже об обычных коллажах, омерзительных и не очень. Сеть — великое средство издеваться, оставаясь неузнанным, но хуже всего, когда и жертва, и ее гонитель известны, тогда Сеть позволяет травле растягиваться во времени, обманывая жертву тем, что оскорбления не бросают ей прямо в лицо.

— О чем задумался?

— Да так... Ни о чем. Сны.

— Это от сердца, — вздыхает мать. — Если оно болит, снятся плохие сны.

Она улыбается, ей стыдно за нагоняи. Матери некогда выказать обычную женскую нежность, и она давным-давно, вот уже целых два

месяца, не может понять, что уже навсегда опоздала. Что-то оказалось нарушено, и началась травля. Мать не в силах это исправить, хотя все равно обещает:

— Я тебя защищу от всего на свете. Слышишь?

Слышно.

— Давай сменим номер. На этом... тариф плохой.

— Опять? Недавно же меняли!

Номер менять бесполезно. Все цифры сообщаются классной, которая аккуратно заносит их в журнал. А журнал из класса в класс доверяют носить девочкам. Среди которых так хорошо колосится Гапченко.

Лучше потерять телефон на улице. Или где-нибудь под кроватью.

Но ведь звонит еще и отец.

Он злится, если ему не отвечают, и потом при встрече хмурится, бросаая короткие насупленные взгляды. От нервов у отца зажмуривается один глаз. Трепещущее веко зловеще опущено, и совсем не хочется, чтобы оно приподнялось. Отец долго раздумывает, затем подходит, вздыхает — не чтобы изобразить обиду, а чтобы казаться шире, — и начинает взрослый, мужской разговор об ответственности: мол, мне-то все равно, гуляй, но пожалей хотя бы мать, она волнуется...

На самом деле отец чувствует себя уязвленным. Он переживает, что с ним не посчитались, не поставили в известность. У него так со школы, с армии, первого полуполегалного дохода и вплоть до сегодняшней работы: вечно приходится доказывать свое и опровергать чужое. Он средний чин в службе охраны, организует будки и склады, много бегает, ругается, порой рукоприкладствует, нервно живя между начальником и подчиненными. Вот почему он так нарочито мужиковат, грозен и грузен. И густые усы тоже отрастил поэтому. Это система опознавательных знаков. Чтобы издали было видно: не подходи — напорешься на очередную незатейливую историю из гарнизонной жизни.

— Опять телефон вырубил? — Отец подсаживается к столу.

— Хочет номер сменить, — вздыхает мать.

— Вот оно как... — Отец смотрит озадаченно. — Случилось что?

— Нет, ничего. Просто на уроках выключаю, чтобы не звонил, а потом забываю включить.

— Но номер-то зачем менять?

— Да много всякой фигни приходит. Достало.

— Фигня, значит? Ну смотри... Главное, учиться не забывай, иначе будешь, как я, чужое добро охранять, — задумчиво говорит отец, а затем громко требует: — А хлеб где? Мать, дай хлеба!

Крошки сыплются на оголенный, похожий на валун живот. Он весь из тугого мяса, нагулян свиной, пивом, непростой ратной службой. Это не брюхо, а именно живот, какой бывает у штангистов, средоточие силы и мощи, сакральный мужской барабан. Крошки гулко стучат по натянутой коже — отец недоволен и, чтобы унять раздражение, ест с громом. Один глаз зажмурен.



Отец чувствует недоговоренность. Что-то прячется, будто постыдное, и это распаляет в нем древний инстинкт охотника. Требуется обязательно выследить тайну, поддеть ее и вытащить наружу. Тем же самым вот уже два месяца маленькие «отцы» занимаются в школе.

— Девушку бы нашел, — печально тянет мать.

Девушка... Если в восьмом классе ее ищут в фантазиях, то в девятом уже необходим опыт, о котором можно рассказать.

Чайкину и Копылову повезло. Остальным стало завидно, они бросились изобретать и долго подсмеивались над Фурсой, который тоже попробовал распространяться о своих похождениях. Было странно представить, что у заторможенного Толика, у которого каждое слово казалось набухшим, могло стоять что-то еще.

Но когда в полупустую личку постучалась девушка, смех пропал. Вот он — шанс обойти на повороте! Она была из того же города, училась в восьмом (ничего, это даже лучше) и написала первой — сама, значит, заинтересовалась. У нее было немного друзей, немного фотографий, но зато схожие увлечения, которые быстро вылились в недолгую, но бурную переписку. В личку стали приходить фотографии, спускающиеся все ниже, а в редких голосовых сообщениях мило стеснялась всамделишная девушка. Поэтому, когда она попросила того же самого, ей была отправлена самая напряженная и выгодная поза, какую только удалось принять перед зеркалом.

На следующий день это фото можно было увидеть на классной доске. Распечатанные в большом масштабе ребра выпирали еще сильнее, и тонкие, смешно расставленные руки топорщились по бокам худосочного торса. Но хуже всего был безволосый живот, лишенный всякого намека на кубики, зато помеченный несколькими родинками. Их зачем-то обвели фломастером. Хорошо, что на снимок попало только тело, без головы, иначе то, о чем знали немногие, не осталось бы тайной ни для кого.

Зашедшая следом девочка выразила мнение всех одноклассниц:

— Фу! Это чье такое?

Нужно было тут же, прямо при всех, сорвать фотографию с доски, скомкать ее, признаться и обличить тех, кто это подстроил, рассказать, как они прикинулись девушкой, — что намного, намного постыднее! — но ничего не было сделано. Формально это было просто тощее тело в зеркале. Тело без головы. Ничье. А раз так, можно пожать плечами, пройти мимо на одеревеневших ногах, сесть за парту и, как никогда прежде, ждать начала урока.

За мгновение до прихода учителя плакат содрала дежурная. Она сделала это лишь перед самым звонком, с притворным возмущением. С задних парт раздавался кашель, похожий на смех.

Это не мог быть кто-то из другого класса. Заговорщики притаились здесь, усиленно делая вид, что им интересен урок. Онемевшее тело не могло повернуться, но спина знала, что класс смотрит только на одно место — именно *место*, потому что так, как было сделано, не поступают с людьми.

Это наверняка Шамшиков. У остальных бы не хватило ума. Только Вова писал без ошибок и мог прикинуться кем-то другим. Но пухлый пай-мальчик не отличался ни смелостью, ни предприимчивостью, ни злобностью. С последней было понятнее всего: это Копылов. Но Фил сам никогда бы не додумался до такой схемы, он бы просто подошел и приказал заткнуться. Значит, Гапченко. Антон ехидный, шутит остро и нагло, ему могла понравиться «голая» комбинация. Получается, Антон в шутку придумал, Фил ослабилась и принудил осуществить, а Шамшиков покорно исполнил. Была еще настоящая девушка, чей голос усыпил бдительность, но это не так волновало, как предательство друзей.

После звонка пришлось собрать ближний круг из Чайкина и Фурсы. Толя был явно встревожен — значит, он ни при чем. Наверное, понимал, что мог оказаться на той же «доске почета». А вот Рома темно нахмурился, скрестив руки на груди. Поначалу казалось, что розыгрыш оскорбил его. Поначалу вообще многое кажется.

— Кто это сделал? — Вопрос заглушается гомоном малышни, бегущей в столовую.

— Это запахло, — медленно отвечает Рома. — Как бы кто ни поступил, я не могу никого сдать.

Понятия всегда работают на тех, кому это выгодно.

— Чайка правильно говорит, — кивает Толя. — Придется тебе разбираться без нас. Но я точно в этом не участвовал.

Задать тот же вопрос Роме — не приходит в голову. Такого нельзя помыслить о том, кто из-за бедности родной семьи часто ел по домам друзей. С Ромой долго делили парту, игрушки, телефон, позже даже создали общий профиль в соцсети. С ним было впервые выпито, и первая настоящая драка тоже была с ним. Рома легко рассказывал свои секреты и принимал чужие. Только с ним можно было говорить по несколько часов подряд и смеяться над простыми словами...

Еще долго вся злость уходила на Гапченко, и только потом Фурса, не в силах больше удерживать в себе тайну, поведал, что развод придумал и осуществил Рома Чайкин. Это был шок. Сердце отказывалось верить.

...С запасной лестницы слышно и видно, как Копылов, спускаясь на пролет ниже, восторженно говорит со своей девушкой с их параллели.

Лицо на тех фотографиях было не ее. А вот голос тот же.

Руки больше не подают.

«Привет», — через недолгость тоже «привет». Никаких «здорова». Молчание, прикушенные в ожидании потехи губы. Затем кто-нибудь, обычно Гапченко, заговаривает с Шамшиковым:

— Я вчера такую фильмушку видел!

Пальцы поворачиваются к Вове, который должен благословить спектакль. В нем либо участвуют все, либо он вообще не начинается.

— Что за кино? — Шамшиков трет припухшие костяшки.

— Ой, Вовунька, там про любовь!



У них что-то вроде супружеской игры. Вова стесняется ее, отворачивает светлую голову к окну, а Гапченко виснет на друге рыжей лианой. У Антона он то «Вовчик», то «Вовуля», а в пиковые моменты, когда угреватое лицо готово лопнуть, даже невиданный «Восанька». Это никакая не содомия, просто игра, переперченная дружба, но проделай такое Фурса или еще кто — заклеямили бы трубочистом*.

— Тоша, так что за фильм? — Темные глаза Чайки смеются из-под бровей.

С Ромой давно не удастся поговорить. Он отвечает без злобы, но коротко, с насмешкой. На загорелом лице серая улыбка. Рома тускл, он как прогоревший костер, и от него идет темное, неживое тепло.

— Там про одного мужчинку, — Гапченко смотрит только на Шамшикова. — Пышного такого, с усами.

— Про Папика, что ли? — Филипп склабится, подается вперед.

На слове «Папик» все смеются.

— А у Папика есть любовник? — Фурса вступает грубо, не чувствуя, как натянута нить.

Она сразу же рвется, и Пальцы вздрагивают: им еще неудобно.

Ничего, привыкнут.

— Ой, Толечка, как грубо! Я только приличненькие фильмули смотрю, — лыбится Антон. — У Папика семья. Он ее очень любит!

— Любит? А говоришь — приличненько, — хмыкает Рома, и Копылов завершает атаку:

— Что молчишь? Не видел такого фильма?

— Не видел.

Пальцы прыскают в кулачки, и кажется, не сними режиссер этот фильм, жизнь текла бы своим чередом.

— А как кино называется? — хочет все сгладить Вова.

— Называется — «Папик», — не оставляет шансов Копылов.

Травля начинается с имени. Если имени нет, его нужно придумать. Коверкается фамилия, склоняется отчество, подбираются рифмы и личности. Никто никогда не унижает человека. На это стоит блок, божественный запрет. Человек — это всегда подобие: оскорбляешь его — значит, оскорбляешь себя. Поэтому требуется магическая формула, особое расчеловечивающее имя, желательно общего рода, устраняющее неудобный барьер. Так в тюрьме, так на войне. Так в школе. «Петух», «стукач», «дрищ», «обезьяна», «бомж», «крыса», «очкарик» — все это нужно, чтобы не видеть в унижаемом человека.

Пальцы не смогли зацепиться за имя, а история с фотографией вскоре забылась. Вот почему им припомнилось, как один раз, придя в гости, они столкнулись с отцом, который, как назло, был в одних трусах, вываливаясь из них могучим телом. Были оценены пышные усы, зажмурившийся глаз, лицо, уминающее еду, непонятные слова, работа охранником и куча других мелочей, которые не замечаешь, когда живешь с ними ря-

* Трубочист — на воровском жаргоне активный гомосексуалист. — Здесь и далее прим. ред.

дом. Прямо в дверях отец дал Пальцам живую пищу для развлечения, — они искали ее, нашли и теперь были готовы по-настоящему развернуться.

Ужас был в том, что в школе травили отца.

Это стало понятным не сразу, а только после доверительного звонка Фурсы, который с ленцой доложил, что все приколы про живот и усы — родственные. Толя не догадывался, что где-то внутри это было давно известно, просто не признавалось правдой. Хотелось думать, что Пальцы издеваются над абстракцией, не имеющей реального прототипа, а как только образ приобретет фамильное сходство, как только отец будет назван отцом, шутники незамедлительно понесут наказание. Пока же это игра. Пальцы опасаются назвать предмет шуток нужным именем, значит — уважают, а то и боятся, поэтому вынуждены юлить, не переходя к прямым оскорблениям. Папик — это совсем не отец, и такие шутки не могут быть обидными, ведь обида возникает из-за осознаваемого сходства с гонимым, а этого как раз и не было. Только если Пальцы начертят семейное древо, их вина станет очевидна и неминуемо последует возмездие.

Вот почему можно было молчать. И вот почему с каждым днем Папик все больше походил на отца.

Математика. Учительница грозно стоит у доски. Огромная грудь мерно кольшется, класс боится утонуть в гудящей морской волне. Сорок пять минут графиков квадратичных функций еще никогда не делали человека настолько счастливым. Затем побег к актовому залу, кипящая лава второклашек, от которой так тепло, и еще один большой подарок судьбы — геометрия. Учительница снова на месте и, продолжая вдалбливать свои формулы, ругает тупых Фурсу и Чайку (нет, от этого не приятно), а затем вызывает по одному к доске — искать уравнение окружности.

Спасая остальных, руку тянет Вова Шамшиков. Он быстро раскладывает уравнение, берет циркуль и строит окружность по отношению к системе координат. Указан центр и радиус, найдена длина окружности и площадь круга. Осталось только отметить точки пересечения с осями, это Вова почему-то оставил напоследок. Отличник застенчиво оглядывается, щечки пылают, и он быстро, словно убоявшись собственной смелости, подписывает: «Р», «А», «Р₁», «А₁». Две буквы на оси «икс», две — на оси «игрек».

С задних парт раздастся плохо сдерживаемый взвизг.

— Тишина! — Учительница не ждет подвоха от своего любимца. — Володя, подписывай координаты и садись.

$P(0;\sqrt{3}); A(-1;0); P_1(0;-\sqrt{3}); A_1(3;0)$.

На перемене Гапченко с лаем набрасывается на Шамшикова, тербит его руки, пускается вокруг него в пляс, чуть ли не лижет застенчиво-красные щеки. Ощущение, будто хозяин приехал. Чайка уважительно хлопает по рыхлому плечу, вечно смущенный Вова смущается еще больше и не замечает, как и медлительный Фурса в сторону, ни для кого, выражает свое восхищение. Копылов обнимает Шамшикова за талию и с



одобрительным хрюканьем поднимает в воздух. Антон раздраженно отскакивает, а Вова хохочет и шуточно бьет Фила. Отличник единственный, кто может себе такое позволить. Они живут с Филиппом в одном подъезде, дружат еще с дошкольного возраста.

На замыкающей школьный день истории, когда разговор уже идет на вольные темы, Вова вдруг поднимает руку и задает учительнице вопрос:

— А что вы думаете о Папанине?

Это не было согласовано. Этого поначалу никто не понимает. Вова, сгибаясь за спинами девочек, шепчет и украдкой бросает записочки — лишь бы на лицах друзей расцвела многозначительная улыбка. Теперь они тоже любят Папанина и спрашивают историчку, встревоженную их рвением, посвятить знаменитому полярнику отдельный урок.

— Ой, ребята, не знаете вы Папанина!

— Знаем, знаем! — Чайка чуть не захлебывается от счастья.

Этот приступ непонятной радости окончательно запутывает учительницу.

А Толя Фурса, про которого снова забыли и которому очень это не нравится, подходит вальяжно, вихля выпяченным животом:

— Догадываешься, про кого они?

— Они? Но ведь ты тоже.

— Папанин! — визжат в стороне. — Хотим Папанина!

Если бы не учительский стол, Пальцы упали бы на пол. Истошнее всех визжит Копылов. Он рад, что дружит с Шамшиковым.

— Я помочь хочу, — обиженно шепчет Толя. — Вломи Чайке, это он придумал! Без него все заглохнет. Отвечаю.

Наконец историчка неохотно соглашается, но с условием: никакого урока, только доклад.

— Я, я, я! Можно я? — Копылов вспомнил, как тянут руку в начальных классах.

Историчка сдается и уходит. Пальцы сплетаются в хоровод. Больше всех рады Чайкин с Копыловым. Они смотрят друг на друга прямо-таки влюбленными глазами.

— Анатолий, милоч, ты чего здесь? — Гапченко озабоченно подлетает, нежно берет Фурсу под руку и уводит к своим.

Толя млеет от оказанной ему чести. Пальцы опять собрались в кулак.

— Ах ты негодник, решил о Папике побольше узнать? — никого не стеснясь, издевательски спрашивает Фил. — Доклад мой, понял? Ну ладно, так и быть, давай на двоих. Тогда с тебя фотки брюха! Согласен?

Фурса втягивает голову и оглядывается. Чайка смотрит выжидающе: может быть, сейчас, может быть — уже? Шамшиков смущенно отвернут. Только Гапченко подпрыгивает в нетерпении: «Ну сделай, ну сделай же что-нибудь! Дай мне кого-нибудь разнять!»

Ноги сами собой несут прочь. После школы до дома всегда меньше, чем сто сорок шагов.

В комнате пусто. Ветви клена перебегают по тетрадям, тени прохожих шагают по потолку. Кажется, что в окно постучат так же, как стучат в личку.

Она переполнена гвалтом с левых профилей:

— Можно Папика?

— Папонька!

— Папик, Папик, Папик!

Шамшиков, Гапченко... Фурса, наверное. Или Копылов. Тут не угадать. Они то пользуются одной учеткой, то создают несколько. Банить нельзя, пусть лучше надорвут свои глотки здесь, на бело-голубом фоне, нежели начнут компенсировать в школе. По той же причине нельзя сменивать профиль. У Пальцев должен быть громоотвод, который заземлит молнии.

Нужно не отвечать — самим надоест...

Не надоедает.

Каждый день приходит приглашение в группу «Папкин дом». На аватаре — роскошные усы, уютно обрамляющие фото родных окон. В группе много грубых приколов, мата. Есть фотографии. Они по большей части сделаны сзади — в коридоре, в столовой. Ни одной из самого класса, и это помогает мучителям выдерживать конспирацию, а жертве — сохранять личную честь: нет, это не они, это кто-то иной и издалека, а как только враг подойдет, как только сфотографирует лицом к лицу, то тут же по нему и получит.

Среди редких комментариев встречается один от одноклассницы:

— Фе, как гадко!

Но на группу подписана.

От другого, свежего комментария сразу же бросает в пот:

— Зачем вы так? Что он вам сделал?

Ей отвечают обстоятельно, подробно, и хотя никаких причин, как и имен, не называют, становится ясно, что ситуация уже давно обсуждается в конференциях класса и школы. Всем все известно. Все всё знают. Приносятся бессмысленно.

Телефон загорается — это звонит Фурса, у него ежевечерняя потребность поболтать. С началом травли Толя как-то растерялся, стал ходить еще медленнее и чаще оглядываться, а потом напустил на себя умудренный вид и принялся поучать. Голос его звучит важно и устало, будто это звонит уработавшийся функционер, который целый день перебирал государственные бумаги.

— Здравова... — По телефону Толя, как и Шамшиков, еще здорова-ется. — Когда Чайке всечешь?

— Зачем?

— А, все делаешь вид, что не понимаешь? Блин, если бы моего батю так поносили, я...

— И что бы ты сделал? — На Фурсу хочется наорать. — Ну что?! Раскидал бы всех? Убил? — И уже про себя шепчется личное, выстраданное: «Ты не был, не ощущал, не знаешь! Не знаешь, как это! Замолчи!»



Толе, похоже, приятно, что на него кричат вот так, издалека. Можно повертеться на кресле, поковыряться в ухе, а затем медленно, с расстановкой, прочитать нотацию.

Дабы упредить его, приходится спрашивать:

— Ладно, что там опять?

— Точно хочешь знать? Они там до такого договорились...

— До чего?

— Как бы лучше объяснить... Нельзя быть слабым. Нужно уметь постоять за себя. Если не отвечать — будут гнобить. Так устроена жизнь. — Недавно покормленный мамой, Фурса довольно ворочается в кресле. — Короче, если не всечешь Чайке, вообще опустят. Я когда с ними до дома иду, там такое обсуждается... Как обоссать, куртку поджечь. Но с Папиком... ой, ну... э-э-э, ты понял, в общем... у них реально помешательство. Они озабоченные, особенно Фил с Чайкой. Хотят узнать, где он работает, чтобы туда прийти. Думают на машине краской что-нибудь написать. Прикинь, да? Ну, мы с Вованом в этом не участвуем, если что.

— Спасибо. — В голосе нездоровая дрожь.

— Да ладно, — Фурса честен. — Мы просто не любим, когда вот так. Да и... Кхм...

— Что?

— Точно хочешь знать?

Ясно лишь, что Фурсе точно хочется рассказать.

— Короче, они игру делают.

— Игру?

— Ага. Про Папу.

— Они совсем, что ли?!

Соглашаясь, Фурса сам подбирает крепкое слово.

— Наглухо. Там Вован в основном прогит. Ну, ничего сложного в целом. Взяли фотку, анимировали ее, нарезали шаблонов...

— Каких еще шаблонов?

— Э-э-э... — Толе правда неловко, и это располагает к нему. — Биту там, полотенце, веник, э-э-э... — Появись, Фурса называет то, из чего хотели обоссать. — И всем этим, типа, можно тыкать, хлестать по лицу, э-э-э... животу. Жигой можно усы поджечь. Тоша еще обещал озвучить.

Да, у него хорошо получится.

— Во-о-от...

Хочется оледенеть, но по сбивчивому тону Фурсы ясно, что он не договаривает самое унижительное. И то, что в жизни может быть что-то хуже, чем похабная игра про родного отца, заставляет испытать жгучий стыд.

— Что еще?

— Демку скинули в конфу класса.

Сердце падает в пропасть, в лед внутренних органов. Завтра любая девочка, а послезавтра любой старшеклассник, повстречавшись, хмуро

посмотрят: «Знал же, видел, почему ничего не сделал? Отчего не защитил отца? Мы играли в него и теперь имеем право судить».

— А ты? — В голосе хрипы. — Ты тоже играл?

— А как бы я еще об этом узнал? — удивляется Фурса. — В конфе почти все играли, но знаешь, никому не понравилось. Народ адекватно себя повел, у нас вообще класс хороший. Хочешь, добавлю в конфу? Тогда бы они притихли.

— Нет, не надо.

Из конференции недавно пришлось удалиться, как раз чтобы ни о чем не знать. Незнание освобождало от стыда, дарило покой, а звонки Фурсы развеивали его. Толю никто не просил стучать, он докладывал сам, может даже из лучших побуждений, но делал только хуже. Толя клал трубку и шел спать, а тут долго еще не спалось, комкалось, ныло. Фурса был товарищеским напоминанием о травле, хотя о ней просто хотелось забыть. Возможно, на скромный мизинец остальными Пальцами была возложена задача беречь незаживающую рану.

— Только никому не говори, что это я рассказал, хорошо?

В ответ хочется крикнуть Толе что-то обидное, но тут окно комнаты сотрясается от удара. Потом в стеклопакет попадает еще один снаряд, и сквозь белую паутину трещин отчетливее слышен уличный лай.

— Что такое? Упал, что ли? — беспокоится Фурса.

Трубка летит на диван, и в то же мгновение в комнату вбегают родители. Отец быстро оценивает обстановку, кидается к себе, возвращается, распаивает окно и выпрыгивает наружу. Старые треники чуть разошлись по швам, на ногах тапки, и прямо в таком виде он бросается в погоню. В его руке пистолет. Отец понял все верно, не зря так долго проработал в охране. Он должен отомстить, иначе пострадает его профессиональная честь.

Мучительно хочется, чтобы отец никого не догнал. Если в окне, как «в гостях у сказки», покажутся виноватые рожи Копылова с Чайкиным, это будет конец. Они всхлопнут разбитыми носами, а затем увидят в центре комнаты застывшее, увидят худое, ужаснувшееся и испуганное.

Увидят и навсегда запомнят, как бы ни избил их отец.

Он возвращается мокрый, злой, весь облепленный снегом, долго стоит на улице, задумчиво качая искалеченную створку. Многослойное стекло не пробито, на нем сеть белых трещин, будто между слоями застрял снежок. Кидали пивными бутылками. Их осколки еще лежат на отливе. Мать стоит, зажав рот рукой, затем подбегает к окну и умоляюще затягивает супруга в комнату:

— Залазь, простудишься! Люди смотрят! И спрячь это! Спрячь, говорю!

Пистолет неохотно отводится за спину. Отец мечется по комнате, один глаз зажмурен, с мокрых усов капает злость. Ему кажется, что бросали не в окно, а прямо в него. К потолку поднимается белый мужицкий пар.

— Видел что?! — Отец в ярости.



— Нет, по телефону говорил...

Это точно Копылов с Чайкиным. У них пятерки по челночному бегу.

— Да как так-то?! Я двоих видел, но далеко... оторвались.

Отцу необходима хоть какая-то победа. Вот, смотрите же, я, в отличие от вас, все-таки кого-то увидел! Тугой живот обтянут майкой, открытый глаз выпучен, усы прилипли к губам — отец больше нелеп, чем грозен, и снова бормочет слова на ином языке:

— На цугундер... на цугундер бы всех!

Внутри холодеет. В отце и вправду есть что-то нездоровое. И это все не тело и не язык — отца лихорадит иначе, его растрясает от мелочей. Он такой большой, что вечно притягивает неприятности, а потом смешно пытается оттолкнуть. Если перетерпеть травлю, если Пальцы не расцепятся, а тоже останутся жить на районе, то через много лет, когда уже все пройдет, повстречавшись на улице, кто-нибудь из них сочувственно заметит: «Тут это... батю твоего видел. Ругался в магазине из-за кило картошки». А может, опять что с помойки тащил. Или за гавкнувшей собакой кинулся и не догнал...

К отцу появляется отвращение. Если бы он вел себя пристойно, не ходил в одних трусах, не ел бы, кроша на гигантский живот, сбрил бы усы, вылечился от своей широко расставленной мужиковатости — то никогда бы не стал персонажем компьютерной игры. Пальцы бы вновь превратились в людей, здоровались, и эти две бутылки пива были бы распиты с ними, а не брошены в окно.

— Что теперь делать? — обеспокоенно спрашивает мать.

— Что-что! — огрызается мужской голос. — Нехай до завтра стоит.

Не сейчас же менять.

С полчаса еще ходится, открывается-закрывается, говорится. Затем родители запираются в своей комнате. Сегодня им будет что обсудить: пистолет, да и вся реакция, — это не пустой треп. Оружие нарезное, служебное, с лицензией. Его тяжесть пьянит даже на расстоянии. С пистолетом ты всегда какой-то другой человек. Тем более отец, который и так какой-то другой. Однажды он избил ханьгу, который случайно, по пьяни, задел мать. Та тянула мужа прочь, но отец не поддавался на уговоры, покуда не оставил обидчика в луже крови. Может, мать и не хотела их разнять? Если так, то в этом не было ее вины. Всем хочется, чтобы хоть один из их обидчиков был наказан. Мать тянула отца в сторону, потому что смотрели люди, «из-за морали». Внутри же, куда можно было заглянуть через вспыхнувшие глаза, горело жуткое желание остаться и посмотреть.

Может, настоящая любовь — это когда оттаскивают взаправду?

За окном шуршит мимо машина. Комнату озаряет набежавший свет. На стену ползут голые тени деревьев. Они шевелят мысли, и голову простреливает догадка.

Толя Фурса все знал. Ему рассказали, или он подслушал. Толя позвонил, чтобы снять с себя все подозрения.

Рука комкает простыню.

Этих-то можно понять. Они рисковали, проявили решительность. А этот... трус. Фурса догадывается, что он следующий, поэтому осторожничает, ведет, как ему кажется, умную игру. Он не осознает, что все его хитрые комбинации тут же рассыплются, стоит только Копылову произнести пару обидных фраз. В Толе раздражает именно эта его суетливая предусмотрительность. Она не способна защитить. Смех днем и увещевания вечером, тонкая грань между заискиванием и независимостью — всю двойную дипломатию, которую ведет Фурса, может прервать обычная плюха. К чему тогда эта напыщенность? Толя выстроил какую-то свою линию Мажино, а немцы, как всегда, обойдут с фланга.

Почему же не над ним?.. Почему?!

Человек мгновенно распознает унижение. Достаточно резкого оклика, как в сердце — пустота, как в желудке — льдина: не надо мной ли, не мне ли?

Первые дни Пальцы ходят притихшие: опасаются, что дали повод все рассказать отцу. В школе хорошо и спокойно — вот бы растянуть четыре оставшихся неразбитыми окна на год! Даже немного жаль шушукующихся в стороне бывших друзей. Одно слово — и им конец. Но внутри сыграли пацанские понятия, и тайна осталась тайной. Затеплилась надежда всех гонимых: вот сейчас за то, что не рассказал, наконец-то полюбят и оценят...

Не полюбили.

Проверить поручают Фурсе. Толя долго переминается, бестолково переставляя ноги. Ему нравится стоять вот так, перед остальными, он млеет. Он самодержавно владеет чужими взглядами: сейчас его не могут ни окликнуть, ни поторопить. В школьном коридоре Толя Фурса сейчас такой, каким станет лет через двадцать, — важный, сонный начальник.

Девочки тоже рядом. Они сбились в притихшую стайку, поглядывают уточками, искоса. Девочки хотят вскрикивать и трепетать.

Толя смотрит снизу вверх, смотрит насмешливо, будто он больше ростом. Чайка скрестил руки — опасные, щетинистые, смуглые руки. Гапченко смешно ревнует Вову Шамшикова. Тот намеренно, от стыда, развлекает Копылова неинтересным ему самому разговором. Пухлый отличник, без которого не было бы почти дописанной уже игры. Он хуже всех. Хотя нет, хуже всех Фурса.

Почему? Потому что гнობить должны его.

— Чего трубку бросил, когда со мной разговаривал? — обиженно начинает Фурса. — Это невежливо, вообще-то!

Значит, они ничего лучшего не придумали. Даже Шамшиков разволновался и получил сегодня четверку. Пальцы боятся порезаться. Они ждут про стекло.

— Да там окно разбили, не до того было. Вообще, мог бы и раньше поинтересоваться.

— Окно? — вскрикивает Гапченко. — Кто же такой подлец?



— Я бы попросил! — шутливо замечает Чайка, и Копылов хрюкает, оценивая остроту.

Сегодня эти двое особенно неприятны. Плотные, мускулистые. Копылов так вообще ходячее мясо, на нем вот-вот порвутся брюки — и замешкавшегося Фурсу прибьет монструозным крупом. Чайка поджар, он атлетичнее, единственный из парней, кто всегда закатывает рукава, играя рельефными предплечьями. Ему хочется подражать.

Рождается вопрос:

— Что попросил бы?

— Не понял? — переспрашивает Рома с настороженной полуулыбкой.

Приходится разжевывать, хотя Вова Шамшиков сразу все понял и отошел к девочкам.

— Антон спросил, что за подлец мог разбить окно. Ты заметил: « Попрошу! » — типа: « Но-но, не нужно грязи! » Ты так ответил, словно Тоша сказал это про тебя. А Фил понимающе засмеялся. Словно это и про него тоже.

Хотелось сказать, что Фил заржал, а не засмеялся. Но это же Фил. О нем так не говорят. Он отлип от телефона, ухмыляясь смотрит на Чайку. У того руки опущены, ладони втиснуты за ремень, предплечья напряжены — поза спорщика, борца. Тем не менее Пальцы молчат. Только Толя Фурса, недовольный, что его триумф подошел к концу, отпускает первую удачную шутку за год:

— Пацаны, да у нас тут Шерлок Холмс!

Пальцы ломает от хохота. Шамшиков смеется в кулачок, куда пытается залезть лицом Гапченко. У Фила глаза-щелочки, вокруг них мокро и красно. С сальных волос Фурсы сыплется перхоть. Лишь Чайка посмеивается отстраненно, в темных глазах нехороший блеск.

Когда все затихают, Рома спрашивает:

— А кто сказал, что это я разбил или Фил? Есть какие-то доказательства?

Доказательства! Все пацаны, все гопники, все «понятийные» мужики, блатные и уголовники — все они менты до мозга костей. Им непременно нужны подтверждения, документы, свидетели, справки, лингвистические экспертизы и отсылки. Вот они, истинные наследники римского права, расселившиеся от Волги до Енисея.

— Чайка прав, — Фил убирает телефон в карман брюк. Гаджет топорщится там, как попа маленькая на попе большой. — За такое можно и ответить. За балабольство в рот возьмешь?

— Как грубо, Филя! — вскрикивает Антон и сладко жмурится. Страшно подумать от чего.

— Это не я балаболю...

— Эй, стрелки не переводи! Вечно передергиваешь, — надвигается Фил.

— Не передергиваю!

— Хочешь, докажу? — с улыбочкой вмешивается Рома и загораживает Фи́ла плечом.

Тот сопит, но вперед не лезет. Копылов никогда не был силен в перепалках, а вот с остряком Ромой спорить опасно. Но лучше так, чем при всех получить удар в живот. Роме хотя бы можно ответить.

— Ну как? Хочешь, докажу, что передергиваешь?

— Попробуй.

— Девушка есть?

Пальцы притихли, ожидая ответа.

— Нету.

— Значит, дрочишь?

Правильного ответа нет. Тот, кому задают такие вопросы, уже ошибся.

— Допустим. Как будто вы не дрочите.

— А это к делу не относится, — ухмыляется Чайкин. — И так, дрочишь. То есть передергиваешь. Пацаны, а вы дрочите?

Один за другим тут же отстреливаются голоса:

— Не-а.

— Да ты что! Как можно!

— Н-нет...

Вова Шамшиков неопределенно трясет золотистой головой. Из-за густых волос непонятно, кивает он или ушел в отказ.

— Вот видишь. — Чайкин делает шаг вперед. — А теперь докажи, что это мы с Филом окно разбили. Ну?!

За два месяца это первый обстоятельный разговор с бывшим лучшим другом. Рома откровенен, выплескивает то, чем переполнен. Это не злоба или яд, а презрение, почти брезгливость. Почему Рома так ведет себя? Что произошло с этим веселым, смуглым, уверенным в себе человеком? Что ему не понравилось и как это исправить? Плевать на Вову и Толю. Это попутчики. Но с Ромой была самая прочная, настоящая дружба. Даже сейчас кажется: нить не лопнула, а словно растянулась, друг совсем близко... просто он на той стороне.

— Значит, доказательств нет?

Тело начинает подрагивать. Ему страшно, оно ищет помощи. Пальцы близко, сложились в кулак, уже мысленно хрустят косточками будущей жертвы. В воздухе сладкий запах унижений. Спасения нет, ни до кого не дотянуться. Девочки у соседнего подоконника, они в стайке, туда нельзя без приглашения, там тоже что-то от общих предков. Толя Фурса беседует с Шамшиковым. Наверное, он шепчет в застенчивое ушко то же, что шептал этот месяц по телефону. Про оскорбления, заговор, игру...

Из груди рвется:

— Толян рассказал, что вы за всем этим стоите. За фотографиями, за тем разводом с бабьей, за изде... шутками. И игру тоже вы сделали. Вован, ты же ее сделал, да? Думаете, непонятно, кто этот Папик? Толян все рассказал! И окно тоже вы разбили. Не знаю, кто точно это сделал, но либо ты, Филипп, либо ты, Рома. У остальных тупо бы смелости не



хватило. Да и у вас тоже по отдельности не хватило бы. Выходит, вместе. Толян, ты же об этом по телефону говорил? Да?

Взгляды обращаются к сгорбившемуся Фурсе, и даже Вова Шамшиков смотрит на него с осуждением. Гапченко поднес ладошку ко рту, а другой сжимает локоть Филя. Тот недвижим, бурлит. Темные глаза Чайки впилась в Толю, с которым он, видимо, делился всеми своими планами. Сам Толя багровеет, мешки под глазами наливаются кровью. Он взбешен, как бывает взбешено что-то маленькое.

— Ну зачем было рассказывать... Я же просил! — И тут из Фурсы выплескивается явно какая-то цитата: — Только крыса не держит слово!!!

Толя делает вид, что сейчас бросится в драку, но его тут же обвивает Антон:

— Анатолий, не беспокойся! Это наша проблема.

Трясущегося от возмущения Фурсу заводят в класс. Его никто не видит. Он жертва нестерпимого святотатства. Оказалось нарушено великое пацанское табу: нельзя закладывать. Это хуже смерти. Можно быть вором, насильником или убийцей, но ни в коем случае нельзя никого сдать. Это потрясение основ мироздания, загубленные атланты, разогнанные слоны и потопленный кит. Точнее, тебя-то заложить можно, других — нельзя. Но если кого-то нельзя, а кого-то можно, — значит, можно всех, а кого-то просто и нужно?

Это ведь как посмотреть. Все в этом мире — как посмотреть.

В коридоре остался только Рома Чайкин. Подумалось — замахнется, но Рома с веселой усталостью произносит:

— Зачем было Фурсу закладывать? Это не по-мужски. За косяки нужно отвечать самому.

— Да какие косяки? Какие?!

Чайка ухмыляется и тоже заходит в класс.

Там разыгралась настоящая драма. Толя сидит за партой и поминутно порывается встать, дабы пойти и разобраться, но его успокаивают и усаживают обратно. Его ни в чем не винят. Толя Фурса пострадал от чудовищного коварства.

Когда сзади прилетает бумажный комок, это совсем не больно. Плохо только, что сидишь на первой парте. Ты словно мишень, поставленная перед всеми, словно несправедливо приговоренный к расстрелу. В любой момент может заскрежетать отодвигаемый стул, или скрипнуть столешница, на которую надавит рука, и в спину шмякнет скомканная бумажка.

Больно оттого, что тебя видно всем. А тебе — ничего не видно.

Для харканья привставать не надо. Харкать можно сидя. Достаточно развинтить ручку, сорвать с тетради скальп — последнюю страницу, разжевать ее и, свесившись в проход, метко плюнуть в цель. Если угодил в шею или голову — жертва тут же смахнет, обернется, поэтому стараются попасть на одежду, чтобы, когда встал со звонком, на пол осыпался снегопад из подсохших комочков. Или девочка, сидящая сзади, ткнет в спину, не рукой — ручкой, и шепнет:

— Стряхни с пиджака...

Как будто без нее непонятно.

Стрелять издали быстро надоедает, не зря армии до сих пор сходятся врукопашную. Тогда кто-нибудь, обычно самый наглый, идет на сближение.

— Копылов, ты почему пересел?

— Я плохо вижу! Мне на второй удобнее. А можно Чайкина тоже сюда? Мы решили на пятерку работать.

Биологичка рада. Теперь у нее поубавилось проблем с задними партами. Она не физик и не знает, что если где-то убыло, то где-то и прибыло.

Сначала линейка щекочет волосы. Это приятно. Затем колеблет ушную раковину, на что ей, не поворачиваясь, отвечают ударом — и она летит на пол. Линейка прозрачная, пластмассовая, ядовито-салатового оттенка. Идеал девятиклассника — целых тридцать сантиметров. Грохот от них звонкий и прыгающий.

Вскоре линейка снова тербит ухо. Уже настойчивее, в предвкушении ответа, а когда не получает его, легонько стучает по макушке. Возня затихает, сзади ждут протеста, возгласа, хотя бы поворота, и спиной чувствуется, что Копылов с Чайкиным преданно смотрят на учительницу. Она все еще верит им и порой что-то спрашивает, даже немного оправдываясь: «Раз вы хотите на пятерку...»

Через несколько минут — несильный хлопок по плечу. Смех с задних парт. Некоторые девочки осуждающе шикают. На смех, не на линейку. И только под конец, уже перед самым звонком, спину обжигает хлесткий, звонкий удар. Линейка протягивается вдоль хребта, плоско налипая на позвоночник. Звук — будто щелкнули кнутом, и биологичка вздрагивает, удивленная.

Спину жжет огнем. Бил Копылов. У него всегда сильно и прямо. Если сейчас повернуться и начать разбираться, то он, на пару с Чайкиным, лишь разведет руками: мы здесь ради оценки — или можешь доказать обратное?

Где-то за спиной хихикает Толя Фурса. Он больше не звонит и не здоровается. Толя Фурса обижен на всю оставшуюся жизнь. Он наслаждается мстостью, и, даже не поворачиваясь, ясно, что Антон снимал ее на телефон. В такие минуты Вова Шамшиков свободен от друга. Наверное, отличник не бросал бумажек и не смеялся. Он просто смотрел.

Не это ли хуже всего?

Между уроками Вова рассказывает версию о том, что фокусник Гудини умер от неожиданного удара в живот. Фурса авторитетно заявляет, что это фигня, Копылов предлагает проверить, и Толя, напрягая маленькое одутловатое лицо, готовится к «пробитию штрафного». Фил бьет, впрочем не в полную силу — он по-любому больше доверяет рассказам Вовы, — и обильные мешки под глазами Фурсы вздрагивают. Он выдержал.

Дальше подсакивает Гапченко. Он тоже хочет, чтобы ему пробили, но почему-то вертляво подставляется боком, почти задом. Его прижима-



ют к стенке, и Копылов бьет — уже сильнее, почти взаправду. Возможно, он ревнует Шамшикова, к которому Антон вечно прижимается. Гапченко багровеет, угри наливаются краской, но выдерживают. Задрал рубашку, Антон прыгает в стайку девочек. Те визжат, но жадно рассматривают плоский, в кубиках, живот. На нем нет угрей.

Вове бьют совсем легонько, и шлепок гасится телесным жиром. Лишь мягкое лицо отличника чуть зарябило. Затем Копылов сам встает к стенке. Его смешно «пробивает» Шамшиков, который не распрямил руку и ударил под каким-то глупым углом. Чайкин, занимая освободившееся место, приказывает лениво, беспечно, почти позевывая:

— Бей со всей силы.

Копылов почему-то медлит. Он утирает нос рукой, оглядывается, и можно заметить, что у него почти нет шеи — квадратная голова растет прямо из квадратных плеч. Он как будто в чем-то не уверен, может, из-за цепкого Роминого взгляда и его расслабленной, совсем не напряженной фигуры. Фил бьет мощно, но видно, что все же сдерживается, и вдруг становится понятно почему. Он боится бить со всей дури, ибо чувствует, что не размажет Чайкина, что тот выдержит и ухмыльнется, будто говоря: мы с тобой равны... а может — я равнее тебя.

— Следующий! — злится Копылов.

Это уже не похоже на фокусы. Самый здоровый жлоб избивает жлобов помельче, мечтающих занять его место. Так куются все иерархии.

— Давай! Нам всем пробили.

Идти не хочется. Весь спектакль был затеян ради последнего актера. Предыдущие удары как бы снимали ответственность, и теперь, если что не так, можно будет искренне возмутиться: «Нам всем пробивали!»

Стена холодит затылок, лопатки. Так в младших классах учили держать осанку. Копылов показательно разминает кисти, шутит про то, что убьет, и все смеются, хотя, кажется, когда кого-то убивают, это не очень смешно. Удар получается прямо из шутки, резкий, быстрый, во всю подростковую мощь. Кулак врзается в живот, и Копылов еле удерживается, чтобы не завершить «двоечку». Тело прилипает к стенке, но оно выдержало, ему не больно, хотя из живота, как из колокола, доносится гул.

Фил отходит, недоуменно оглядывается, и его провал ехидно комментирует Чайка:

— Че-т ты слабак, даже Фурса сильнее бы ударил!

На удивление, Копылов ничего не отвечает, но его узкие глаза прокальвают Рому.

Когда Фил успокаивается, Толя запоздало толкает Чайку:

— Я не понял! Почему «даже»?

Что же тут непонятного?

Зеркало в туалете бесстрастно. Боли нет, но есть здоровенный синяк. Едко несет аммиаком. Плитка выложена под наклоном, в углу собралась застоявшаяся желтая лужа.



Дверь скрипит, в туалет мягко проскальзывает Вова Шамшиков. Он стесняется разговора наедине, поэтому быстро семенит к дыркам в полу.

— Почему вы себя так ведете?

Вопрос застаёт Шамшикова врасплох. Он пугается, будто полез к чужой ширинке:

— Не понял... Что?

— Почему вы так себя ведете? Ты, Фил, Чайка, Тоша, Фурса. Ты же знаешь, объясни. Из-за чего все началось? Что было не так?

Вове неудобно. Он боится, что свои с него спросят за откровенность. Отличник отряхивает золотистые волосы, сходит с возвышения и идет к умывальнику. Ему спокойнее говорить, когда льется вода:

— Да не переживай так! Мне вот тоже пробили... Да и Чайка с Тошей вечно надо мной шутят. А над Фурсой как? В общем, забудь... Домашку сделал по алгебре? Дать списать? Там сейчас все перекатывают...

— Спасибо, не надо. Вчера сделал.

— Тогда дашь Тоше списать? А то тетрадь одна, неудобно...

— Хорошо.

Вова покидает уборную. Из окна при этом тянется струя влажного зимнего воздуха. Вокруг мокро, липко, неприятно. Но лучше здесь, чем в классе...

— Так-так! Нашел! Пацанчики, сюда-а-а! — Гапченко, привстав на носочки, держит дверь нараспашку.

В туалет заходят Фил и Фурса. Толя упирает руки в бока. Фил закатывает рукава. Оба чрезвычайно серьезны. Антон притворяет дверь.

— Проси прощения, — коротко командует Фил. Желваки на его лице похожи на крохотные кулачки.

— Надо извиниться перед мальчишками, — театрально вздыхает Гапченко и приближает Фурсу. — Особенно перед Толечкой.

— За крысятничество покруче спрос! — Фурса где-то слышал это слово и думает, что во всем виноваты крысы.

Тело леденеет, готовясь подморозить близкую боль. Сейчас станут бить. Прделает это один только Фил, а остальные будут смотреть: Толя — для восстановления поруганной чести, а Тоша — чтобы рассказать любимому Шамшикову и не такому любимому Чайке.

— За что извиняться? За какие косяки? Вы бы объяснили для начала...

Филу достаточно одного удара, чтобы тело почувствовало твердость кафельного пола. Он бьет в корпус, так же, как на перемене, но позади нет стенки, и удар опрокидывает, бросает на холодную потливую плитку. Почему-то совсем не больно, и, когда в живот врезается остроносая туфля, она не может проткнуть какую-то оболочку, задеть что-то по-настоящему важное. Фил ошалел и уже не бьет, а топчет, опуская тяжелую ногу-колонну. Гапченко хватает его за корпус, оттаскивает и зажимает в углу. Угрюмое лицо побледнело: Тоше не нравится, что Копылов превратил веселую разборку в вульгарное избиение. Фил тяжело дышит, и Гапченко морщится от его вонючего после столовской еды дыхания.



Только Фурса полностью удовлетворен. Сонное лицо озаряется садистическим наслаждением. Рот приоткрыт, за обкусанными губами видны чуть желтоватые зубы.

— Крыса должна жить в толчке, — объявляет он.

Тенькает звонок. В туалет он проникает приглушенно, через две стенки. Фурса благодарно треплет Филя по спине, но тот раздраженно стряхивает его руку, отталкивает Тошу и первым покидает уборную. Антон бросает быстрый испуганный взгляд на распластанное тело и тоже хлопает дверью. Остается Фурса, который произносит гордо, как только что родившая мать:

— Запомни: нельзя быть крысой! Нет никого хуже стукача.

— Это... это ты попросил?

— Чтoб опустили? — удивляется Фурса. — Я что — за себя постоять не могу? Они сами решили наказать. Ну, Фил решил. Он реально выбешенный.

— Но почему?! Что произошло?!

Фурса запрокидывает голову. Немытые волосы касаются плеч. Он пытается издевательски всохотнуть, но в горле булькает что-то мелкое, рыбешечье. Снизу видно, что у Фурсы небольшой зуб. Толя весь радуется от триумфа, несмотря на аммиачную вонь. Он упивается своим вертикальным положением и благодушно смотрит на тело, лежащее рядом с лужей мочи.

— Папик и то не такой жалкий. — Поставив в разговоре точку, Фурса спешит на урок.

Самое горькое — что нужно следом.

Одноклассники уже ерзают на стульях, приготовили телефоны, предвкушают, как приоткроется дверь и в класс скользнет жалкое, худое, избитое. Даже те, кому противно, все равно посмотрят, полюбопытствуют: сильно отделали или так, пройдет?

— Извините за опоздание. Можно?

Учитель неопределенно машет рукой: он уже давно ни на что не надеется и никого не ждет.

До пустующего места всего несколько шагов. Вова Шамшиков сжался: наверное, это он дал наводку, кого можно найти в туалете. Фил развалился во всю парту, у него отходняк от собственной крутости. Чайка презрителен, ему противно смотреть. Тоша почему-то насторожен, поглядывает с жалостью, рыжее лицо с прозрачными глазами напряжено. А Фурса... Фурса единственный, кто смотрит невидяще, выпукло, будто поднятая с глубины рыба. Он упирается взглядом в грудь, толкает из класса, не пускает за парту. Крошечные кулачки гнут карандаш. Толя так ожесточен, что вот-вот сломает пишущий пруттик. Но почему? Откуда такая злоба?

Ответ очевиден. Толе не хватает сил самому унизить кого-то другого.

Ни Вова, ни Рома, ни Антон, ни Филипп не злят так, как злит этот царствующий хомяк. У всех Пальцев есть достоинства: ум, отстраненность, прыгучесть, сила, другие качества, их смешение, — у Толи нет ни-

чего. Таких, как он, не видят, а унюхивают. Недаром Гапченко когда-то давно подобрал к Фурсе весьма точное слово — «вонький».

Тогда на чем основывается столь яростный взгляд? Какая сила гнет карандаш?

Никакая. Ни на чем.

То, что не имеет под собой основания, злит больше всего.

Ноги несут вглубь класса. Рядом с Толей сидит чем-то похожая на него девочка, она ойкает, когда руки тянутся к воротнику Фурсы. Толя сначала пыжится, но когда его вытягивают из-за парты, проволакивают по ней и бросают в проход — вопит что-то жалкое.

Эх, Толя, Толя! Ты еще не знаешь, что, когда тебя бьют, нужно молчать.

Фурса ударяется головой о краешек соседней парты, и та проскальзывает в сторону. Крови нет, будет небольшая шишка, но учитель ревет и бросает других мальчиков в атаку. Они давят рассыпавшиеся по полу пеналы, и сразу нескольким карандашам и ручкам приходит конец.

Первым, как всегда, подсуетился Гапченко. Он обнимает сзади, тащит в сторону, но ботинок успевает врезаться Фурсе в живот. Толя сворачивается, зажимая ушибленное место, и хотя все, кроме визга, уже кончено, даже не думает подниматься.

Толе Фурсе страшно.

У классной на ногтях красный лак. На уроках она не пользуется указкой, а клацает по доске ядовито-ярким ноготком, и от холодного, мертвецкого звука шевелятся волосы.

— Кто?

Пальцы молчат.

Рука сама тянется к потолку.

Классная удивлена. Она хотела ткнуть в кого-нибудь из обычных заводил — например, в Чайкина и Копылова, — но теперь возвращается недоверчиво к краю шмыгающего мальчишеского рядка.

— Это так?

— Да.

Ноготки впиваются в линию жизни. Кожа на костяшках натягивается, слышен меловый скрип.

— Хочешь сказать, никто не провоцировал и не доводил?

— Нет. Просто сорвался. Извините, больше не повторится.

Пальцы знают, что так и будет, и уже предвкушают расправу. О классная, подними же свой взгляд, посмотри, как пещерны их лбы! Скажи что-нибудь такое, чтобы гонители сжались, заморгали, расслабили руки и шеи, раздвинули уголки губ в улыбке, чуть расступились... скажи же! Скорее! Разве ты не видишь, что в классе завелась Пальцы?!
 Классная занята ноготками. Это остаток ее молодости, последняя гладкая часть уже рыхлого тела.

— Если есть проблемы, иди к психологу.
 Но ведь проблемы-то у них!



— Это вас всех касается, слышите! — Классная недоступна для возражений. — В школе с начала года появился психолог. Он здесь для вас работает. Мужчина, между прочим! Найдете общий язык. Почему к нему не ходите?

Услышав про общий язык, Гапченко осторожно касается стоящего рядом Шамшикова. Тот прячет руку в карман.

— Я ходил к психологу, — гудит Копылов.

Ему вторят остальные:

— Мы тоже ходили, он сам нас вызывал.

— Значит, мало ходили! Меня сегодня завуч отчитывала как девчонку! Хорошо еще, ваши прошлые подвиги не припомнила. Вы думаете, мне нравится за вас отвечать? Марш отсюда! И чтобы я о таком больше не слышала!

Разнос как-то всех объединил. Тоша подмигивает Чайкину, Фил подбадривает Фурсу. В дверях возникает веселый затор, Пальцы шутиливо толкаются, и на мгновение кажется, что теперь, когда каждый выплеснул свою злобу, все будет по-прежнему. Но в плечо прилетает сильный, не по игре, удар:

— Че на меня-то не бросился? Зассал?

Копылов думает, что причина в этом. Он не видел, как Фурса гнул карандаш.

— Или на меня? — ухмыляется Чайкин. — Почему Толян? Он же меньше всех угорал. Выбрал самого слабого, да?

Услышь Фурса такое раньше, он бы запротестовал, но сейчас поник и выглядит безоружно. Важность его улетучилась. Переживает: его унизили на глазах всего класса.

— Нда-а-а... — Вове Шамшикову тоже надо высказаться.

И только Антон Гапченко молчит. Не от сочувствия. От чего-то другого.

— Папику жаловаться побежишь?

Прилетает смачная затрецина.

Одной драки мало. Нужно две или три, чтобы бунт не посчитали случайным. Требуется вновь восстать, броситься с кулаками сразу на всех, может — умыться кровью, но показать, что насмешки дорого обойдутся.

Внезапное желание разворачивает к Пальцам. Они стоят у дверей, вобрав в свою кучку понурого Фурсу. Теперь Пальцы будут использовать его как повод и как причину. Копылов тяжело обнимает Толю, чуть ли не пряча его под мышкой. С другого бока пострадавшего подпирает Шамшиков. В нем опять проснулось что-то откровенное, не злоба или ненависть, а какая-то пугающая безнаказанность.

Любая травля прежде всего безнаказанна, в ней нет внутреннего желания перестать, и нет внешней силы ее остановить. Она будет продолжаться, пока не уничтожит жертву, не загонит ее насмерть, не затопчет окончательно в грязь и не презрит все ее мольбы. Травля — это не цель, а процесс, где важна постепенность преследования, его неотвратимость, когда жертва цепенеет оттого, что ей негде скрыться. По сути своей это

растягивание сладострастия, мазохистское нежелание кончить, тербление себя и жертвы, фаллос — саднящий и оргазмирующий. Сладостно то приближаться, то отступать, чтобы надежда: сегодня вроде хорошо поговорили — сменялась самоутешением: били не так уж и сильно. Пусть жертва верит, что нужно потерпеть до следующего дня или года, ведь травле тоже нужно время, чтобы созреть. Ее ужас не в закономерном конце, а в промежутке, в раскачке и амплитуде. Страшно — от чего к чему, страшен виток и все больший замах. Все известные травмы постепенны, они возникают из тревожных слухов и легенд, под которыми всегда одно основание, имя которому — человек.

И вот они, очередные люди, сочувствующей гурьбой столпились во круг обозленного Фурсы. Лет через двадцать они вспомнят, ужаснутся, покаются, скажут: это мы зря, мы были молоды и не понимали — и как ни в чем не бывало продолжают ходить на работу и растить детей.

Но ведь все понятно уже в пятнадцать лет. Все ясно даже в девятом классе.

Под кабинет психолога отдали каморку на четвертом этаже, в самом конце коридора, напротив спортзала. Дверь неплотно прилегает к косяку, и, когда стучишь в нее, косяк трясется, как будто вот-вот обрушится.

— Входите!

— Здравствуйте...

— Так-так, наконец-то! Долго же я ждал. Ну, присаживайтесь, будем беседовать.

Психолог пришел в школу только в этом году и держится в стороне от других педагогов. Чудной, как про него говорят в учительской. Фамилия у него тоже нелепая — Локоть, и ее на все лады просклоняли втроем — еще с Чайкой и Фурсой.

Своим появлением Локоть вызвал неподдельный интерес у всей старшей школы. Если физра стояла последней, то, прежде чем убежать домой, пацаны считали своим долгом сотворить что-нибудь с дверью психолога. Ее пинали, изрисовывали, отдирали именную табличку, на которую завхоз в следующий раз тратил еще больше гвоздей.

Локоть сумел завоевать уважение весьма странным способом. Когда дверь снова испоганили, психолог совершил поклассный обход. Он зачитывал одну и ту же речь о важности терпимости и диалога, а для ее закрепления неожиданно кусал себя за локоть. Это производило ошеломляющее впечатление. Особенно на присутствующих учителей. С тех пор дверь Локтя оставили в покое, а за самим психологом закрепилась слава поехавшего.

На вид Локтю около тридцати. Невысокий, худощавый. Ясные живые глаза, черные волосы. Если встать против света и приглядеться, видно, что один глаз темнее другого. Красивое тонкое лицо изрыто оспинками, но это его не портит. Все внимание занято тем, как Локоть себя ведет.

Психолог старомоден, разговаривает на другом, непонятном уже языке.



Поначалу к нему еще навевались девочки, решившие проверить себя как женщин, но Локоть не ходил в их аккаунты, не смотрел фильмов и не читал подписок. Он брезговал новоязом, подчеркнуто обращался на «вы», не хохмил и не набивался в друзья к тем, кто был в два раза младше него. Прогрессивную молодежь это разочаровало, и в последнее время к Локтю стучались только школьные изгои. Они подолгу просиживали наедине, но, судя по тому, что издевательства не прекращались, психолог был бессилен помочь по-настоящему. Просто после новых потасовок классные теперь выпихивали проблемы на четвертый этаж.

— Мы ведь не имели удовольствия встречаться раньше?

Голос у Локтя тихий и вкрадчивый. От него не по себе. Улыбка тоже тихая — затаившаяся меж обметанных губ.

— Вы только в класс приходили. И других вызывали сюда. Вот.

Локоть сидит спиной к окну, и ранний вечер кровавит худую фигуру. Тень затянула оспинки, зияет черный зрачок. Психолог так сосредоточен, будто ему и правда не все равно:

— У меня свой метод работы. Со стороны он может показаться странным. Можно даже сказать, что я никакой не психолог. Я скорее колдун. Ворожу со словами, проявляю смысл вещей. В сущности ведь, никто не болен. Каждый таков, какой он есть, а я — тот, кто лишь помогает это понять. Я пытаюсь разговорить собеседника и часто сам говорю неудобные для него вещи. Поэтому не обижайтесь, когда услышите что-то неприятное. Это плата за откровенность. А я не буду обижаться на это вот недоумевающее выражение лица. Что, не ждали такого от школьного психолога? Меня здесь никто не стережет. Могу говорить что угодно. Кто из учителей ходит на четвертый этаж? Физрук да музычка. Они нас не предадут, они тоже несчастны. Видите, я ничего не скрываю. Говорю одну только правду!

Смех у Локтя рассыпчатый. Психологу, похоже, вообще все равно, что о нем подумают.

— Итак, что произошло?

А ведь почти забылось... Приходится вспоминать. Жаль.

— Да там... ну... э-э-э... В общем, ничего такого. Просто подрались.

— Просто подрались? — Психолог качает головой.

— Ну да.

— И в классе все хорошо?

— Да... А что?

— А можете назвать одноклассников, с которыми дружите?

— Прямо всех? — Вопрос застает врасплох.

— Называйте всех, — кротко улыбается Локоть. — Я узнаю своих.

— Рома Чайкин, Толя Фурса, Вова Шамшиков, Антон Гапченко... — Язык не хочет добавлять Копылова, без которого этим четверым понадобится пятый — и все вернется на круги своя.

— Как интересно! С этими молодыми людьми я уже имел честь беседовать. — Локоть уходит от окна, глаз становится обычным, и на лице проявляются кратеры. Психолог роется в столе, заваленном бумагами. —



У меня тут разные исследования, которые я вынужден проводить. Так... девятый класс... Помните, я как-то, еще в самом начале года, устраивал опрос: дескать, представьте, что вы прямо сейчас отправляетесь в далекую страну и с собой можно взять только трех человек?

Припомнилось легко. Тогда Локоть еще не кусал себя, поэтому над его опросом много и беспощадно смеялись.

— Меня интересовало не то, куда вы хотите отправиться, а кто кого возьмет с собой. — Психолог находит ворох скрепленных листков. — Например, Анатолий Фурса взял бы Рому Чайкина и... — Локоть подмигивает, посмотрев прямо в глаза. — А также Вову Шамшикова.

Из прошлого протянулась рука дружбы: Толя не позабыл, позвал с собой. Пусть путешествие было только на разлинованной четвертинке, на сердце потеплело. Вспомнилось, что на личном листке, отданном психологу, стояли эти же фамилии. Только в ином порядке: Рома, Толя и Вова.

— А вот Шамшиков прихватил в путешествие... так... Копылова, Гапченко и Чайкина.

Сердце екает. Уж Шамшиков-то мог бы взять с собой. Тем более осенью, в бархатный сезон.

— У Копылова, ожидаемо, Шамшиков, Гапченко и... Фурса.

— Фурса? Почему не Чайкин? — быстро вырывается вопрос.

— Давайте оставим это на потом. А вот ответы Гапченко: Шамшиков и... две девочки, не буду называть фамилий. Гм...

Выбор девочек озадачивает психолога. Он не понимает, что это камуфляж.

— Но интереснее всего Чайкин, не так ли?

Сердце екает еще сильнее.

— Он взял в путешествие... Фурсу, Гапченко и... Копылова.

Вот как? Оказывается, еще до начала всех издевательств никто не думал звать с собой в путешествие. Разве что Фурса... но от этого становится обиднее, чем от любви некрасивой девочки.

— Разумеется, из одного исследования невозможно вынести верные суждения. Это просто наметки, примерное направление, в котором нужно копать... Скажите, какой вывод из всего этого напрашивается? Как делался выбор?

— Ну, кто с кем дружит, наверное.

— Верно! Или, точнее... У дружбы есть порядок, представляете? Важно не только то, кого берут в путешествие, но и в каком порядке. Это как набор в спортивные команды: тех, кого считают лучше, расхватывают первыми. Самыми последними забирают тех, кто мало кому нужен.

Локоть садится спиной к окну. Темный глаз затягивает поволока. Теперь психолог невесел. Он спрашивает строго, с небольшим нажимом:

— Почему Фурса? Зачем было драться с тем единственным, кто позвал в путешествие? Да еще на почетном втором месте?

Главное — удержаться от слез.

— Ладно, попробуем иначе. — Голос Локтя теплеет. — Поймите, я здесь не для того, чтобы кого-то осуждать. Я не часть школы. Оцен-



ки, правильные ответы, дисциплина, похвала и порицание — школа втискивает человека в роль отличника или болвана, жертвы или задиры. По сути, это ловушка: эхо, оставшееся после крика учителя, составленное на всю жизнь расписание... Я тот, кто учит обходить его. Меня не интересуют диагнозы. Я хочу разобраться в истории болезни.

— Болезни?

— Да, болезни, — задумчиво повторяет Локоть. — Школа больна.

И на этих листочках — описание заразы.

Речь Локтя настолько странная, что слезы уступают место вопросу:

— Заразы?

Локоть будто только этого и ждал. Он наконец начинает говорить как психолог:

— Со стороны кажется, что лидер класса — Копылов. С ним не спорят, он физически развит. Но на деле из всей компании Филиппа зовут в совместное путешествие только два человека: Шамшиков и Чайкин. Маловато для вожака, не правда ли? А вот Роман куда интересней... Судя по всему, он сублидер, то есть лидер независимый, предпочитающий держаться в стороне. И вот Чайкина выбрали уже трое, причем двое — первым. При этом сам Рома позвал в путешествие Копылова, а Копылов его как друга проигнорировал! О чем это может говорить? Судя по всему, Копылов чувствует угрозу своему авторитету, поэтому сублидера из своего списка исключает. А Чайкин, напротив, комплексов перед Копыловым не испытывает, легко берет его в команду. Налицо парадоксальная ситуация: лидер класса не имеет в нем реальных сторонников. По-настоящему его не хочет никто, кроме Шамшикова. Видимо, это его старый приятель?

— Они еще до школы дружили, в одном подъезде живут.

Локоть довольно улыбается. Рад, что его предположения оправдались. Он бросает пачку листков на стол и отворачивается к окну.

— Можно посмотреть?

— Нужно!

Четвертинки тускло шелестят в ладонях.

— Погодите... Но тогда, получается, Вова должен быть лидером! За него проголосовали все, кроме Ромы.

— Шамшиков — отличник, в путешествие его берут как спасательный круг. Вот почему он так важен для Копылова, Гапченко, Фурсы... А Чайкину наплевать на оценки, я полистал журнал — там одни тройки. И вот еще... Смотрите внимательно на результаты. Видите что-нибудь?

Ничего не видно.

— Внутри большой группы из шести человек отчетливо выделяются две подгруппы: назовем их треугольник Чайкина и треугольник Копылова. Эти ребята — их вершины. В основании треугольника Чайкина — Фурса и...

Взгляд неуверенно встречается с взглядом Локтя, и психолог кивает.

— Второй треугольник состоит из Копылова, Шамшикова и Гапченко. Но вот парадокс: Копылов, который возглавляет их, в реально-

сти авторитетом треугольника не является. Эта подгруппа больше ценит Шамшикова. Может, там есть конфликт? Не замечали?

— Ну да, там конфликт между Антоном и Филиппом. И между Ромой и Филиппом тоже конфликт.

Разные глаза Локтя сверкают:

— А еще?

— Что — еще?

— Еще какие конфликты?

— Ну...

— Смотрите на список!

То, что нужно произнести, не дается языку. Локоть усаживается рядом. От него ничем не пахнет, нет даже запаха усталости после рабочего дня. В этом психолог похож на школу.

— Из списка видно, что у нас есть исключение, которое взял с собой только Фурса. О чем это говорит?

Глаза щиплет. Все силы и мысли уходят на то, чтобы не расплакаться.

— ...

— Ну? — Локоть неумолим.

— Исключение... Не знаю.

— Что это исключение — истинное основание всей группы! Она не может объединиться на основе общего положительного признака, поэтому скрепляет себя через отрицание. А что такое отрицание человека?

— Не понял...

— Как другим словом можно назвать отрицание человека человеком?

— Травля?

— Именно!

Психолог теперь взволнованно ходит по кабинету. Кажется, расследование потрясло и его.

— Итого, у нас есть большая группа, а в ней две подгруппы. Одна возглавляется сублидером, другая — лидером, но этот лидер не обладает истинным авторитетом. У него нет власти, есть только сила. А это не одно и то же. Такая конфигурация провоцирует конфликты: лидер чувствует свое шаткое положение, поэтому вынужден конкурировать с сублидером, одновременно ревнуя своего ближайшего и, в общем-то, единственного друга к другому товарищу. И есть некое исключенное основание. Его отрицают все, и только благодаря этому отрицанию группа еще существует. Самое удивительное, что никто этого не понимает. Как только группа избавится от негативного общего, она тут же покроется сетью мелких конфликтов и разобьется вдребезги! — Локоть прикусывает губу в непонятном наслаждении. — Может, Гапченко захочет отбить Шамшикова. Или Копылов решит унижить Фурсу, и за того вступится Чайкин... В любом случае исход predetermined. И вот тогда-то сих господ с разбитыми носами приведут в мой кабинет!

Почему-то совсем не смешно. Локоть чувствует это, поэтому заканчивает мягче:



— Теперь нам осталось выяснить, кто же затеял травлю, из-за которой мы оказались в этом продуваемом насквозь кабинете. Попробуете ответить?

После разбора листков ответ очевиден:

— Копылов. Он зачинщик.

Локоть неудовлетворенно качает головой:

— Нет, это не так.

Не так? Зачем тогда было так долго рассказывать о переживающем за свой авторитет Филиппе?

— Получается, Чайкин? — На этот раз приходится немного обосновать: — Как вы говорите, он сублидер, а значит, ищет опору для сво...

— Нет! — раздраженно обрывает Локоть.

Но кто тогда? Гапченко? Фурса... или тихоня Шамшиков? Мысли путаются. Наверное, ответ должен быть неожиданным.

— Может, Фурса? Он всегда строит планы, вот и...

— Нет же!

Солнце скрылось, закат потух, и Локоть нависает темным, неизвестным человеком. Он произносит так тихо и вкрадливо, что сладко немеет мозжечок:

— Травля — это проблема коллектива. В ней виноваты все: жертва, гонители, зритель. Любой, кто не понимал и участвовал. И любой, кто не участвовал, но все-таки знал. У травли нет зачинщика, ибо зачинщик — сам принцип организации, то, как мы сбредаемся в коллективы. Это древнее пещер. Мы возникли из травли, все наши мифы — о ней. Кто-то обратил на кого-то свой гнев — и появились люди...

Не дожидаясь звонка, с физкультуры валит народ. В тишине коридора топот ног решивших не переобуваться. Никто не знает, что здесь, совсем рядом, всего лишь за хлипкой дверью, над девятиклассником склонился черный шепчущий человек. У него изрытое оспинками лицо и непроницаемый, будто слепой, зрачок. По ту сторону хрусталика замерло непонятное торжество.

Звонок возвращает Локтя к реальности. Психолог щелкает выключателем и, посветлевший, опускается за стол.

— Вот видите, опять я увлекся. Будь помоложе, меня бы здесь тоже травили. В общем, я хочу сказать очень простую вещь: так как травля — это проблема коллектива, нет смысла искать виновных. По сути, виновны все, а значит, проблему не решить рукоприкладством. Если что, самоубийством ее тоже не решить — даже не думайте! Причина не в отдельных людях, не в Фурсе или Копылове. Ни в коем случае никого не ненавидьте! Мы все заложники групп, больших и малых, где могут проснуться механизмы травли. Они туда биологически зашиты. Так что я не рекомендую копаться в прошлом, вспоминать, что могло быть неправильно сказано или сделано. Поверьте, травля не нуждается в причине.

Напоследок хочется задать давно мучающий вопрос:

— Вы так и не сказали, что нужно делать. Ну... чтобы все исправить.

— Бесплезно выписывать рецепт, когда в полной мере не установлена причина недуга. Ведь я лекарь, помните? Надо встречаться, говорить. Я обязательно помогу. Поверьте, травля прекратится. Я сделаю для этого все возможное. Только, прошу, не назначайте виновных! Тем более Фурсу — он ведь несчастнее всех. Лучше приходите ко мне вместо последнего урока. Нам аж три часа выделили, чтобы во всем разобраться. Три часа! — Локоть устало вздыхает. — Тут за три века бы справиться... Ладно, до скорых встреч!

И когда ладонь уже лежит на ручке двери, позади слышится:

— Запомните: травля — это проблема коллектива.

Отец ловит в коридоре, по пути на кухню, когда человек наиболее незащищен:

— Зайди, надо поговорить.

Тон приказной. Говорить с младшим немного зазорно, поэтому надо обратиться сверху и с небольшим раздражением. Мол, что поделать, сам не рад, но разговора не избежать.

— Что-то случилось?

Отец сидит в одних штанах. Резинка не может пережать круглый живот. Если отец как следует вздохнет, резинка лопнет, штаны спадут и будет непонятно, что делать дальше: бежать или удивляться.

— Скажи прямо: в школе проблемы? Ходишь квельный, телефон в отрубе, еще это окно... Кто-то гнобит? Так?

Признаться? Отца в любой момент можно натравить на них всех, он порвет сначала мелочь, а потом вступившихся за нее родителей. Даже если никого не тронет, то на классном собрании будет орать и метать, — и другие родители, не произнося вслух, обязательно подумают: «Правильно, что смеялись».

— Да все ровно, вообще-то. А почему такой вопрос?

— Вопросы здесь задаю я! — Глаз отца зажмуривается. — Рубаху закатай.

— Зачем?

— Рубаху. Закатай.

Ткань неохотно ползет вверх. Под ней космос — фиолетовые синяки с желтоватыми туманностями. Они плывут по животу к горизонту событий. Фил бил точно, целясь в печень и почки, но боли почему-то нет.

— Кто? — Веко дергается, многожды сломанный нос раздувается — быку внутри не хватает воздуха.

— Да это на физре упал. Там по канатам лазили, зачет сдавали. Не удержался, на брусья сверзился.

Врать нужно с деталями. Сказать «упал» — это как сказать «Копылов, Чайкин, Гапченко». Нужна неожиданная деталь, не скользкий пол или незамеченный косяк, а вот чтобы озадачить, заставить вскинуть брови. Канат, брусья, зачет сбивают расследование с толку: не банально, но правдоподобно.

— Почему матери не сказал?



- Так она же паникерша.
- А мне почему не сказал? — Вот он, главный вопрос.
- Да чего тебе говорить? Ну синяк. Бывает.
- А если ребра сломаны?
- Да ну, почувствовал бы...
- Уверен? — И это отнюдь не про синяки.

Подмывает не удержать глаза и расплакаться. Отец выслушает, соберется и куда-то уйдет. Через пару дней Пальцы кто-то переломает. Это сделают неизвестные люди спортивной наружности. Прямо в подворотне, через которую Пальцы ходят домой. Отец принесет в больничку апельсинов, скажет пару многозначительных фраз. Поправляйтесь, мол. Прослежу.

Так все и будет. Он воспринимает боль близких не просто как чьи-то чувства, а как проблему, которую нужно решить. Не тратится на соперничество, а переходит к практике: действие должно родить противодействие. Это тоже форма любви. Почему бы ею не воспользоваться?

Причина снова в отце. Он не вынесет не самого унижения, а того, что травля связана с ним. И после, в этот же вечер, грустный и немного выпивший, непременно вздохнет: «Эх, марёха...»

- Да все в порядке. Правда.

Отца не устраивает ответ, и он начинает говорить медленно, с расстановкой:

— Послушай сюда... внимательно послушай! Я не знаю, что там происходит в школе, но если кто-то пробует наезжать — неважно кто, — надо отвечать. Не можешь на кулаках — бери палку. Нет палки — ищи жлыгу. Жлыги нет — бери кирпич. А если держат втроем, то кусайся, ори, бей по яйцам, по кадыку!.. Никто не связывается с тем, кто может дать отпор. Это понятно?

- Понятно.
- Пусть даже покалечишь, я за все отвечу. Это понятно?
- Да.

Отец и правда за все ответит. Он уже ответил — в классе, на переменах, в Сети. Отец думает, что столкнулся с обычной мальчишеской враждой. Он не знает, что компьютерная игра про него доделана и пользуется бешеной популярностью; не знает, что Гапченко попросил в канцелярском магазине самую шлепкую металлическую линейку; не знает, что в школе теперь мода на усы, и самый волосатый из всех, Чайкин, почти уже их отрастил.

Отец не знает, что издеваются над ним.

Как он справится с этим? Что сделает?

- Хочешь, научу стрелять?

Отец кивает на сейф, в котором лежит оружие. Он всегда навязчиво предлагает этот пистолет, будто носит на своем теле важный орган, который можно давать подержать.

Иногда, за минуту до сна, пистолет кажется возможностью вернуть утраченное достоинство. Оружие — голос немых, дополнительная конеч-

ность, которой совсем не обязательно владеть в совершенстве; не нужно ни силы, ни храбрости, достаточно взять в руку, навести — и страх все сделает сам. Фурса бы обомлел, вытаращив рыбки глазки. С лица Гагченко испарилась бы краснота, он бы тоже застыл и побледнел. Чайкин вскинул бы черные брови и усмехнулся: не верю, не выстрелишь. Шамшиков тут же подсчитал бы: я почти не участвовал, я почти дружил — мне не должно ничего грозить. А вот Копылов... да, Фил мог бы завизжать как свинья. Не сразу, конечно, а после первого выстрела, лучше куда-нибудь в пах, чтобы из него било вниз, как из женщины.

Ожесточение спадает. Друзья все-таки. В них просто закрался изъясн. Если вовремя улыбнуться, сказать что-нибудь удачное, выпить чуть больше, чем остальные, все можно исправить. И если это так, то воспользоваться пистолетом означает признать, что болезнь неизлечима, что это рак в последней стадии и никакого выхода нет, ибо недуг родился из чего-то страшного, изначального и непобедимого. Но на такое бессмысленно тратить пули.

— Так ты еще в восьмом научил стрелять. Помнишь, за городом, по бутылкам?

Отец довольно ворчит — ему нравится, когда он кого-то учит:

— Так это когда было! Да и стреляли там так, только ворон напугали. Вот мы на стрельбище... Хочешь, на стрельбище скатаемся?

— Нет, не хочу.

«Травля — это проблема коллектива», — вспоминаются слова Локтя. Но и до разговора с психологом не хотелось прибегать к пистолету. Это означало бы признать происходящее чем-то фатальным, увидеть в бойне единственный выход. Достаточно оттолкнуть, огрызнуться, разгладить кулаком пару носов, а вместо этого — стальная «соломинка», пистолет. Фильмы на тему травли, просмотренные за последние пару месяцев, заканчивались отмищением, но в нем-то и была загвоздка. Расстрел казался нездоровой оргией, процессом дергающимся и судорожным. Он выглядел дико, преувеличенно. К тому же травля не изживалась, а только перекидывалась на других. Росла, делилась — и в результате оставяла голодным. Сколько бы ни прозвучало выстрелов, они не могли удовлетворить, и это чувствовалось в роликах, манифестах, книгах.

По сравнению с толчками и плевками расстрел выглядел попросту глупо. Пистолет сделал бы Пальцы чересчур могущественными в собственных глазах: вот, мол, до какой трагедии мы смогли довести! А ведь их потолок — так, несколько ответных слов, несколько зуботычин... Но почему-то решиться на них было сложнее, нежели тайком слезить в отцовский сейф.

— Пойдемте есть, суп готов! — В комнату заглядывает мать.

Она улыбается: семья дома, мирно беседует о своих делах. В такие моменты мать спокойна и никуда не торопится.

У входа в класс стоит Копылов. Над верхней губой прилеплены бумажные усы. Фил упер руки в бока и, после недолгого допроса, по одно-



му пропускает в класс. Народ вынужденно толпится в коридоре, пока не пришел учитель.

— Так, ты проходишь, Папа тебя любит. Ты тоже проходи...

Девчонки, презрительно фыркая, просачиваются в кабинет. Копылов не забывает прижать, почувствовать, как мнется теплая плоть.

Когда подходит Вова Шамшиков, Фил издает поросячий взвизг «уи-и-и!» и обнимает друга так, что лицо Вовы общекочевают усы:

— Проходи, сынок! Папа любит тебя больше всех на свете!

Гапченко не может этого стерпеть и проталкивается вне очереди. Он хочет в класс вслед за своим Восанькой, но Фил придирчиво его осматривает. Копылов и не думает лобызаться — слишком много угрей, — но фантазии не хватает, чтобы придумать подходящее испытание, и Гапченко проскальзывает мимо.

А вот Фурсу обхаживают как ближайшего друга. Фил радостно грохочет, предлагая Толе изречь что-нибудь умное, но тот, как обычно, портит спектакль:

— Папа, дай пройти!

Пока Фил занят с Фурсой, мимо них протискивается Чайкин. Он смотрит в сторону, но тело напряжено, готово к толчку или остановке. Копылов замечает соперника, освобождает Фурсе проход и не пускает Чайку:

— Мимо Папы решил пройти? А ну, целуй усы!

Фил подставляет трепыхающийся бумажный ус. Девочки, стоящие в очереди, прыскают.

— Пусть они целуют, — Чайкин кивает на них и высвобождает руки из-за ремня. — Дай пройти, мне у Вована списать надо.

— Мимо Папы просто так не пройдешь! Ему надо что-то дать!

Смех стихает, и Чайка настойчиво продавливает Копылова. Тот сначала лыбится, потом напрягается, надеется оттолкнуть, но в образовавшийся проход со смехом лезут девочки — и Копылов отступает. Широкое лицо с узкими глазами багровеет.

Фил злобно выглядывает в коридор:

— А я думал, что Папа в школу никого не отправил! Пожалуйста, проходите!

Копылов... до психолога верилось, что он главный враг. Зачинатель травли, ее кочегар. Зло. Должно же существовать тупое и отталкивающее существо, которое можно заслуженно ненавидеть! Это позже Локоть объяснил, что у травли нет уязвимого места, некуда нанести сокрушающий удар, и даже Фил послушно повинуется ее законам.

Вспомнилось, как несколько недель назад, когда травля уже была очевидна, классная отправила вместе с Филом купить торт к чаепитию. Пальцы и чаепитие... тоже вот, придумали. Идти с Филом не хотелось: думалось, наедине он совсем разойдется, — но Копылов оказался на редкость дружелюбен, разговаривал и шутил. Подвох, который ощущался поначалу, исчез, и из магазина вышли так, будто и не было никакой травли.

— Посто́й чу́тка, я за бухлом. — Фил забежал в ближайшую разливайку.

Стало совсем тепло. Неужели тоже позовут в полутьму предпоследнего этажа, где, переданная по кругу, мятая баклажка наконец ткнется в руку? И в конце долгого терпкого глотка будет сказано что-нибудь примиряющее, а в ответ, выдержав гордое молчание, можно будет уронить: «Да ладно, проехали». Раздастся смешок, пара дружелюбных тычков — и все станет как прежде...

Под арку, укрывающую от мороси, зашли двое. Бросили короткий взгляд, оценили. Спросили покурить, затем — откуда, после — куда. Лица бледные, грязные, молодые. Торт купил, да? Осталось? Удели на людское. Нет? Тут учишься? Нам через смотрящих напрячь? Взвоешь. Каждый день выть будешь.

Ха-ха, ну да, конечно.

Развод прервал Фил, который с ходу, ничего не спрашивая, бортанул одного из ауешников*. Тот отлетел, оскалился, сунул руку в карман, но товарищ не поддержал:

— Забей, пойдем.

— Ага, грэбите. — Копылов угрожающе повел плечами.

Короткая перепалка увеличила расстояние. Фил не оглядывался, он был уверен в себе. Рюкзак оттягивала холодная «трешка». Копылов мог и не вмешиваться, перед теми двумя не было страха. Почему Фил налетел? Не Шамшикова же защищал. Ах да, ведь нужно сказать:

— Спасибо.

— Да ну, чепушили какие-то, — отмахнулся Филипп. — Погна́ли в класс!

А там, всего через несколько минут, все понеслось по-новой. И начал, разумеется, Фил...

Позже Локоть объяснил, что травле необходим зритель. Травля — это расстановка верха и низа, распределение ролей. Один на один с жертвой гонитель может быть даже заботлив. Но с появлением зрителей каждый вновь становится частью социальной игры. Включившись в нее, можно упрочить свое положение или пошатнуть чужое. Там изгой — это вещь, которую можно то гладить, то ломать. Объект, одушевленность которого безразлична. А наедине... наедине люди еще остаются людьми.

К Филу появляется мимолетная благодарность. Не бросил, вступился. С ним безопасно, он владеет тобой как собственностью. Наверное, многие женщины считают это любовью.

Сразу чувствуется что-то знакомое. Неужто и отец таков?

Копылов стоит в дверях, усердно раздувая приклеенные усы. Ему бы еще в столовой накачать живот. Был бы похож.

— Целуй ус! — радостно предлагает Фил.

* Ауешник (от АУЕ — «арестантский уклад един») — тот, кто живет по законам зоны, но сам никогда не сидел.



Длинная колыхающаяся бумажка щекочет лицо. Ее кто-то ровненько вырезал ножницами. Копылов бы так не сумел. Гапченко? Но сейчас Фил близок с Фурсой... Тогда кто?.. Да к чему гадать! Как будто от этого легче...

А ведь легче! От этого всегда легче.

Рука тянется к длинному белоснежному уссу. Для схожести могли бы выкрасить фломастером, но тогда бумажки загибались бы книзу, обвисли, а это совсем не смешно. Фил вертит головой, и усы игриво бьют по руке:

— Целуй, целуй, целуй!

Рука ловит конец и резко дергает в сторону. Раздается бумажный треск.

— Больно же!!!

Филипп прижимает руки к лицу. Под носом покраснело, там остались клочки бумаги. Оторванные усы кружатся в воздухе.

— Ты что, клеим их прилепил?!

Класс хохочет. Даже Шамшиков, убедившись, что друг не видит, вовсю смеется у окна. За окном ясно, не холодно. Может, оттепель?

Копылов оглядывается — кое-кто замолкает: Фурса, но не Чайкин, — а затем яростно бросается вперед. Этой силе невозможно противостоять, она отбрасывает в сторону, провозит по полу и венчает затылок с батареей...

— Это что такое?! А ну все в класс!

Опоздавшая учительница летит по коридору. Фил не услышал ее. Под учителями не скрипит линолеум. Они слишком тяжелы для него.

— Вставай — и на урок! Живо! И ты, Копылов, быстро зашел!

Через несколько минут в затылок прилетает громадный мокрый ком. Это еще не моча — с подоконника стянули бутылку для полива цветов. От удара во все стороны летят брызги, девчонки визжат, отлипшая тряпка шлепается на пол, как медуза.

Перед звонком учительница требует сдать домашку. Тетради шустро собирает Гапченко, и нужная незаметно переключивается к Копылову. Из-под парты раздается треск рвущейся бумаги. Нужно срочно переписать таблицу, но сидящая по соседству отличница вопит:

— Не подходи ко мне!

— Почему?

Она и сама не знает почему.

Когда в травлю включается параллель, убежище у актового зала превращается в ловушку. По лестнице медленно поднимается карательная экспедиция. Пальцы, девятые и десятые. Между ловцами скачет возбужденный Тоша. Чайкин идет позади, засунув руки в карманы. Чернявая голова задрана к потолку. Рома знал о тайном месте. Когда-то с ним и Фурсой там обсуждались общие секреты, но Чайкин так и не навел гончих на след. Не хотел стучать?.. Тогда кто? Ну да, конечно. Глупый вопрос. До Фурсы всегда доходит с опозданием.

Нарастающий смех отражается от запертых дверей, мечется в закутке, хочет вышибить зарешеченные окна. Бежать некуда. Только лестница

на чердак. Можно залезть повыше, скрючиться, поджав ноги. Пусть снимают. Кто-нибудь, не Копылов, поднимется на ступеньку, протянет руку, попытается стянуть — так, несерьезно, просто чтобы тоже поучаствовать.

Лучше стоять.

Следующие пятнадцать минут невыносимы. Такое слово — «невыносимо». Что-то неподъемное, но обязательное. Нагрузили столько, что спина еще терпит, а вот ноги разъезжаются в стороны. «Невыносимо» — вовсе не о том, чего нельзя вынести. Это слово-тяжесть — о том, что вынести можно. Чаще всего говорят о невыносимости жизни, но раз говорят — значит, еще держатся, это еще не петля. Ноги разъехались, но стоят. Почему-то страшно именно упасть, не выдержать, перестать бороться.словно есть вещи невыносимее жизни. «Невыносимо» поразительно терпеливо, эту муку растягивают на годы. Снова процесс, дыба... «Невыносимо» — ддящийся момент перед самым концом, жуткая невозможность сломаться.

Старшаки гурьбой скатываются по лестнице. Нет, в этот раз не били. Пытались поговорить «по-мужски», строили логические цепочки и крутили на пальцах маленькие серебряные лассо. «Почему крысишься, за косяки надо отвечать, не дело сторониться нормальных пацанов». Один рыпнулся, выпучил глаза — хотел напугать и... напугал. Все засмеялись.

Что из этого хуже всего?

Невыносимо спускаться следом.

— И на чем мы остановились?

Хочется быть поближе к Локтю. «Нас», «мы» — он любит объединять, не стыдясь тех, кто приходит к нему. Сейчас психолог выглядит усталым. Худая фигура истончилась, ей не хватает полноты, и Локоть выглядит хрупким, просвечивающим.

— Вы сказали, что травля — это проблема коллектива.

— Смотрю, запомнили? — улыбается Локоть.

— Пришлось, — не получается улыбнуться в ответ.

— Гм, да. Понимаю.

Черные волосы потускнели, в них больше не разглядишь искр. Глаза устало прикрыты, оспинки, кажется, стало еще больше. Локоть обессилен и немного дрожит. Ему отчего-то не по себе, но оттуда, где по-прежнему не различить зрачка, глядит навсегда затверженная правда.

— Травля неизбежно приводит к распаду коллектива, но и сам коллектив — лишь краткий миг между началом травли и ее концом. Травля никуда не уходит, она обречена возвращаться, куда мы нуждаемся друг в друге. Этого не изменить. Единственная великая революция — та, что отменит всеобщую травлю, и горькая правда в том, что все прежние революции только умножали ее. Можно взять пример любого народа, ссоры или союза, любую страту и любую группу, чтобы увидеть: механизм травли всегда один и тот же. Рассматривать ее можно на каком угодно примере. Ну вот... знаете что-нибудь о скандинавской мифологии?

Вопрос неожиданный, но ответить на него можно:



— Ну читал немного...

— Правда? Боялся, скажете «смотрел».

Похвала приятна. Шамшиков и то, наверное, только смотрел.

— Итак, — продолжает психолог, — один из ключевых скандинавских мифов — это миф о Бальдре, боге весны и света. Он начинает видеть дурные сны, рассказывает об этом своей матери Фригг, и та понимает, что ее сыну грозит гибель. Она берет клятвы со всего живого и неживого о том, что никто не причинит вреда Бальдру. Сами боги клянутся до конца жизни защищать Бальдра. Фригг забывает взять клятву только с омелы, чем и воспользовался один бог, мы знаем его — Локи. Он был раздражен как неуязвимостью Бальдра, так и тем, что остальные боги азартно проверяли ее. Они рубили Бальдра секирами, швыряли в него каменными глыбами, пускали стрелы, но не могли даже поцарапать заговоренного аса. Тогда Локи сорвал омелу, вложил ее в руки слепому богу Хёду, который и рад был бы ударить своего родного брата Бальдра, да не видел его. Локи направил руку Хёда, и Бальдр, пронзенный омелой, упал замертво. Разгневанные боги бросились ловить Локи, поймали и заковали в цепи из кишок его собственного сына. Это стало прологом Рагнарёка, ибо, когда Локи освободится, он начнет мстить. Вот так смерть Бальдра положила начало концу всего сущего.

Хотя миф звучит торжественно, а голос психолога звенит, рассказ не производит должного впечатления. Миф никак не соотносится с тем, что сегодня Фурсу вырядили в отца и Гапченко, неистово вращая бедрами, налетел на него, пытаясь осеменить живот-подушку. Веселый дуэт покати́лся между парт, и на него налипали все желающие, пока мясной колоб наконец не распался на влажные, тяжело дышащие ошметки.

Лучше бы бросили омелой.

Увы, смерть Бальдра, как и сам Локоть, не может ничего закончить. Вместо того чтобы пресечь травлю, психолог, расположившись выше всех, на четвертом этаже, ведет умозрительные беседы о вещах, которые доставляют ему удовольствие. Почему бы просто не помочь? Хотя бы сказать, как надо?

Вместо этого Локоть холодно спрашивает:

— Что странного в мифе о Бальдре?

— Странного?

— Да, что удивило?

— Э-э-э... да вроде ничего. — Обида на психолога уходит. Ум занимает Бальдр.

— Подумайте.

— Ну... вот вы сказали, что боги поклялись защищать Бальдра. Тогда зачем они его рубили и кололи?

— В точку! — Локоть аж подскакивает на стуле. — Я всегда задавался этим вопросом! Зачем же было пырять Бальдра копьем, если вы поклялись, что не причините ему вреда? Это вздор! Но миф всегда повернут изнанкой к рассказчику. О чем же он говорит на самом деле?

— Не знаю.

— Да о том же, что происходит здесь, в школе! Бальдр оказался жертвой травли, развязанной коллективом богов. Смотрите: Бальдру снятся пророческие сны, что пугает остальных асов. Бальдр — самый светлый и красивый из них, а это признак будущей жертвы. Проверка защиты Бальдра — не более чем скрытое избиение. От Бальдра хотят избавиться, потому что в нем видят угрозу. Вот о чем этот миф! Иначе нелепица: мы поклялись спасти Бальдра от смерти, поэтому давайте изобьем его дубинами и иссечем топорами. Чушь! Бальдр — жертва, которую принесли боги, чтобы спасти свой коллектив от распада. Но именно она обеспечила распад коллектива в дальнейшем, то есть Рагнарёк... А знаете, что самое удивительное?

— Что?

— Главным виновником назначили Локи! А он ведь единственный, кто не бросил в Бальдра и камешка. Слепой Хёд и тот жаждал приложить родного брата. Боги хотели убить Бальдра, но не имели возможности. Локи дал им ее. Он только исполнил желание, за что и оказался наказан.

Психолог прерывается, а затем вновь сворачивает к общим рассуждениям:

— Травля никогда не признает свое истинное желание — стереть всякое отличие и тем окончить мир. Изгоняя того, кто отличается, травля создает коллектив, но этим же предопределяет его финал. Группа, не обладающая отличиями, не может существовать как группа, а нахождение отличий запускает механизм травли. Мы обречены гибнуть в травле и возрождаться в ней. Но кто догадывается об этом? Даже мифы не отважились сказать самого важного: нет ни богов, ни героев, а есть только травля масштабов Вселенной.

Локоть виновато улыбается, будто это он причина всеобщей несправедливости. Психолог явно нездоров, из него наружу так и рвется навязчивая идея. Это пугает. Есть же вещи помимо травли. Столы, стулья... Что-то еще...

— А теперь вернемся к нашему разговору. Почему ошибочно назначать виновным только лишь Локи?

— Потому что травля... это проблема коллектива?

— Верно, — мягко соглашается психолог, — травля — это проблема коллектива. Я всегда считал, что на примере Бальдра можно рассказывать о пагубности травли. Она неизбежно заканчивается трагедией. Конечно, не стоит искать в мифах прямые параллели с человеческой реальностью. В миф не то чтобы верят. В нем живут. Если есть миф, реальности не существует. И наоборот, если есть реальность, миф в ней просто кино.

Локоть успокаивается и садится. Хорошую мебель разобрали тетки с нижних этажей, и хлипкие деревяшки стонут, моля о пощаде. В кабинете темно. Из коридора тянет мокрой тряпкой.

— Поэтому нужно определяться. Травля разрушит всех, понимаете?

— Понимаю.

— Теперь, когда мы все понимаем, остается понять, что же делать. Знаете, часто советуют драться. Кинуться на самого главного, ранить,



а то и убить... Надеюсь, таких мыслей нет? Нет? Хорошо. Что такое мечь? Это один — один. А надо, чтобы табло оставалось пустым. Да и кому мстить? Кто в нашем случае главный? Чайкин? Выяснили, что нет. Копылов? Тоже нет. Гапченко? Фурса? Шамшиков?.. Нет главного. Поэтому что причина — в коллективе, во всех его составных частях. Коллектив хотел убить Бальдра, но от коллектива богов можно избавиться лишь в одном случае.

— Рагнарёк?

— Несомненно, — кивает Локоть и пускается в перечисления: — Также советуют провести урок примирения, привлечь авторитетных школьников, начать песочную терапию, подать жалобы в органы образования, оказать давление на директора, записаться в секцию... Заметьте — никто не выступает против травли как таковой. Ее пытаются купировать, перенаправить на других, но не развеять по ветру. Что же, вполне разумно. Глупо восставать против собственного естества. Боги знали, что им грозит уничтожение, и все равно преследовали Бальдра. Если коллектив решил от кого-то избавиться, он сделает это даже вопреки здравому смыслу.

Во рту пересыхает. Неужто Локоть так долго ходил вокруг да около, чтобы уберечь от жуткой правды?

— Но что делать? Скажите! Что нужно делать?!

— Я не знаю, — Локоть отводит взгляд. — Я бы правда хотел остановить травлю, но я не могу прийти и сказать: хватит, перестаньте, послушайте лучше о Бальдре. Нет, если хотите, я вызову всю пятерку и побеседую с каждым...

— Не надо!

Психолог успокаивающе поднимает руки. Ему неловко за то, что его многословие оказалось напрасным.

— Понимаете, я могу только указывать отправные данные. Их мы уже знаем: то, как устроен ваш класс, и то, как устроена травля. Моя задача подтолкнуть собеседника к выбору, но сделать его придется самому. Иначе не будет опыта взросления, ответственности и после школы все повторится вновь.

Локоть устало откидывается назад. Веки прячут глаза, нога задумчиво раскачивает стул. Только что бывший словоохотливым, сейчас психолог угрюм. Перемена столь разительна, что немедленно хочется уйти, но останавливает вопрос:

— А про Бальдра вы сами придумали?

Локоть приоткрывает глаза. Смотрит внимательно. Такое ощущение, что ему хочется соврать.

— Я вычитал это у одного умника. Но у него там слабо, конечно. Мне кажется, все было не так.

Шествие начинается из класса биологии. К концу урока прекратились оплеухи, сзади задышали, защелкали ножницами, с плюканьем выдавили клей. Во всем этом так и чудилась бумажная аппликация, за-

дание со сбором гербария, детская одержимость с высунутым от рвения языком.

Они выходят из-за парт — выставив засунутые под одежду воздушные шарики, с приклеенными усами, ровным рядком, которого никак не мог добиться на своих уроках стареющий физрук. Чайка, Фил, Тоша, Фурса — в колонне нет Шамшикова, которому доверили снимать. Под всеобщий визг Копылов возносит над собой хоругвь — рейку, на которой скотчем примотана отцовская фотография. Подражая монахам, Пальцы заводят:

— Па-а-пи-и-ик! Слава Па-а-а-пику-у-у!

Коридоры полны народом, каждый класс толпится у своего подоконника. Шестые, у которых подоконника нет, боязливо вжимаются в стеночку. Седьмые жадно вглядываются в незнакомую игру, кажущуюся им такой взрослой. Восьмые срываются с насиженных мест и вьются вокрут, крича: «Папик! Папик!» Девятые смеются, мацают бутафорские животы, тоже становятся в колонну, маршируют, чтобы потом отечь к другому подоконнику. Десятые неторопливо фотографируют. Им не поступать и не отчисляться, они в межвременье, связывают верхи с низами. И даже одиннадцатые поднимают головы: да, хорошо, мы оценили, вскоре поделимся этим с однокурсниками.

Учителя идут мимо.

Только изгой таращатся из укрытий, из привычного ила собственных унижений. Смотрят без ненависти, но и без осуждения, и эти взгляды отовсюду — из углов, из кривляющейся и смеющейся кучи. Так посмотрел даже один учитель. Прежде отверженные таились, но их высветила вспышка всеобщего праздника. Они и хотели бы стать его частью, но тихо остаются чем-то иным — отдельным миром, где так много погасших глаз, так много искусанных губ.

— Па-а-а-пи-и-ик! — Копылов, тряся хоругвь, исполняет гимн.

У Фурсы все время отклеиваются усы, а из-под рубашки выпадает подсдувшийся воздушный шар. Чайкин шагает мужественно и вдохновенно, ему даже идет. Гапченко, который поначалу подпрыгивал и щерился прыщавым личиком, теперь отстал, заоглядывался, вдруг оторвал усы и, прижавшись к незнакомой девушке, лопнул об нее шар.

Процессия распадается, когда на ее пути возникает Локоть.

Психолог и не думает ничего выяснять. Он вырывает у Копылова хоругвь, осторожно отлепляет фотографию и возвращает Филу осиротевшую рейку. Тот принимает ее безропотно, двумя руками. Толя Фурса, икнув, беспомощно моргает. Вова Шамшиков делает вид, что снимает стенку. Чайкин хмуро разглядывает возникшее препятствие.

Коридор затихает. Обычно учителя кричат, грозятся вызвать и отвести, а Локоть просто стоит и молчит. Он и не учитель вовсе. Так, психолог...

Вдруг тянет сквозняком, и с ним приходит ощущение необъяснимой угрозы. Всем становится не по себе, будто приотворилась дверь в холодную темную комнату. Народ начинает оглядываться. Девушки захлопы-



вают рты, смутившись, что на них смотрят. Слышно, как в кабинете мел скрипит о доску.

Локоть непонятным образом растет, заполняя собой тишину, сковывает и леденит. Обметанные губы искривляются в усмешке. Он холодно созерцает Пальцы — и те отступают, не в силах смотреть в лицо с оспинками.

Зато оживляются изгой. Они ахают, ухают, начинают отпускать только им понятные шутки, осмелев сбиваются в кучки. Гонимые любят Локтя и радуются тому, что другие не понимают его. Он как будто один из них. Они ждут отмщения. Это их маленькая утопия, в которой они — избранные. Им известны ее законы. «Сейчас Локоть прилюдно унизит гонителей, как раньше они — нас».

Но психолог вдруг улыбается, подмигивает девочкам и... идет по своим делам. Если по пути встречается изгой, Локоть легко касается его, и гонимые поворачиваются ему вслед, словно цветы.

Копылов по-прежнему стоит с пустой рейкой. Выглядит он глупо. Как только оцепенение спадает, Фил визжит:

— Где Папик?!

— Хватит, — пробует его утихомирить Гапченко. — Мы правда переборщили.

— Фил, успокойся, — добавляет Вова. Отличник боится, как бы психолог не донес на него. — Я заснял.

— У голубятни забыли спросить... — цедит Копылов.

Тоша огрызается, он готов умереть за друга, но Шамшиков делает предостерегающий жест. Это замечает Толя Фурса и смело встает рядом с ними. Тоша благодарно кивает. На троих Фил не кидается, только обозленно рычит. Наконец он натывается взглядом на Чайкина. Тот понимает без слов, и оба оглядываются — чтобы заметить там, в начале коридора, того, кто все видел, запомнил и может рассказать.

Ноги несут вниз, на безлюдные пролеты, хотя надо бежать на свет, к людям. Рейка с треском обламывается о спину и бьет в несколько раз сильнее, когда становится короче. Чайкин не использует кулаки, а с ухмылкой хватает за одежду, раскручивает и впечатывает в стену. Деревяшка, которая теперь вместо линейки, унизительно хлещет по щекам. Растрепанный пятиклашка сбегает по лестнице и застывает, пораженный увиденным. Ему машут: проходи, ты маленький, за тобой еще нет вины.

— Это что такое?! А ну прекратить!

Завуч появляется внезапно, откуда-то снизу, из нелюбимого всеми кабинета. Она сгребает виновников в кучу и ведет к классной. Той устраивают разнос заодно: не уследили, распустили, не провели работу. Классная прячет красные ногти, иначе укажут и на это: там та же иерархия, тот же спрос. Она пытается вяло огрызаться — всегда неприятно, когда отчитывают перед теми, кого сама недавно строила:

— Я уже отправляла их к психологу!

— Так он же чудной! — Завуч недовольна, она хочет назад в блаженные времена до всех обязанностей и компетенций. — В своем классе

вы должны сами проводить воспитательную работу, а не перекладывать ее на других!

Она осуждающе смотрит на классную, та — на Копылова с Гагченко, те — вбок.

На кого смотреть крайнему?

Старое, пережившее ремонт окно схвачено изолентой. Завуч хлопает дверью, стекло дребезжит, и трещина незаметно выползает из-под синих полосок. В конце года, во время итоговой уборки, изоленту переклеивают, и трещина ветвится новыми побегам. Когда-нибудь синему дереву не хватит окна и оно расщепит подоконник, затем стену и всю школу, пронзая небо растущими из ниоткуда молниями.

— И что теперь? — озадачены ноготки. — Родителей вызывать?

Чайкин с Копыловым переглядываются. На раскрасневшихся лицах шальные улыбки.

— Да! Вызывайте родителей! — давится от смеха Фил.

— Вызовите, пожалуйста! — умоляет Чайкин.

— Всех троих! — пугает классная.

— Всех троих!!! — Глаза Копылова превращаются в щелки. Оттуда течет.

— Чтобы завтра после уроков были как штык!

— Как штык!!! — почти плачут оба.

Как же хочется вернуться на тот лестничный пролет, летать от стены к стене и чтобы празднично шлепала рейка! Что угодно, лишь бы не видеть, как Рома с Филом визжат при мысли о встрече с отцом.

— Мы увидим Папу! Мы увидим Папу!

Они пляшут, взявшись за руки, и забыли о враждебности. Счастья так много, что оно достается всем.

— Обязательно приводи Папу! Маму не надо, — уговаривает Рома, — хорошо? Мы очень хотим Папу!

Чайка шепчет влажно, весь дрожа, словно и не было позорной порки на лестнице.

Резкий переход снова возвращает к надежде: на самом деле никакой травли нет, ее не может быть, когда друг просит вот так, искренне, боясь по-настоящему оскорбить. Ведь самые страшные оскорбления — те, что бросаются от сердца к сердцу. На публике никто не принадлежит себе, там травля, но наедине еще существует дружба, и если Рома продолжит говорить, ее подзабытые правила снова вспомнятся. Нестерпимо хочется расплакаться. Хлынут слезы — и тогда Рома улыбнется, поймет. Он черен, а значит, насыщен, емок, глубок. Можно даже сменять на отца: забирайте, только верните Рому, темного и немного колючего, как заварка...

Но Чайка уже занят чем-то другим. Он замороженно смотрит вниз, на лестницу, и его смуглое лицо светлеет, словно он видит восходящее солнце.

Навстречу поднимается отец. Он не стал раздеваться в гардеробе и в дубленке кажется еще больше и шире. Сбегающей второй смене приходится протискиваться, нюхать просаленную овчину.



— Здорово, орлы! — Отец говорит так, как научили в детстве. Он не знает, что так уже не принято, и это первый стыд от отца в школе.

Сначала жмут руку оторопевшему Чайке, затем здороваются с подбежавшим Филом. Тот в восторге смотрит на мокрые с морозца усы, на живот, выпирающий под дубленкой. Оба ничего не спрашивают, они ласкают телефоны, вызывая остальные Пальцы.

— Так, где тут у вас классуха? — Отец смешно коверкает слово, будто нуждается в одобрении школьников. — Надо с ней потолковать.

«Потолковать» — и это тоже смешно.

Взлетевший из подвала Гапченко подбегает сзади и выскакивает вперед, будто предлагая себя. В отличие от остальных он не теряется, мигом указывает нужную дверь: прошу, пожалуйста, проходите. Его одаривают благосклонной улыбкой, и Тоша кружится в вальсе, а потом падает в объятия подошедшего Восаньки. Кулак дополняет запыхавшийся Фурса, который удивленно спрашивает, а ему с удовольствием объясняют: сам пришел, вон там, в кабинете, дубленка, живот, усы — все на месте. Не обманули.

Опять невыносимо. С последнего раза слово потяжелело, оно брюхато первобытным ужасом, и, если не удерживать разъезжающиеся ноги, чрево опустошится, выронив липкий и бесформенный комок. Нужно сжаться и выстоять. Иначе — тьма.

По счастью, дверь вскоре приотворяется, оттуда зовет отец:

— Зайди, пожалуйста!

Классная рассказывает про успеваемость. Отец хэкает и замечает, что дневник он мог просмотреть и дома. Классная бросает удивленный накрашенный взгляд и благоразумно умалчивает о сегодняшней потасовке, забывает о прокаченном по парте Фурсе. Отцу этого мало. Он выпучивает открытый глаз, случайно плюется, и глянцевого ноготок, прежде неторопливо стучавший по столешнице, замирает: вот оно что, теперь все ясно. Неужто догадалась? Обидно... даже она поняла всю нелепость отца.

— Что же, не буду вас обманывать...

Отец выходит из кабинета красный, взбудораженный. Он оказался еще раз прав, и очередная победа распирает его. Отец молчит, скапливает внутри себя гнев. Что, если направить его к подоконнику, на котором растянулись Пальцы? Нужно лишь дернуть за рукав: «Эти». Но достаточно всмотреться в их цепкое переплетение, в эти сладострастно напряженные лица, в сумму всех качеств — как хочется быть с ними, среди них, смотреть из сообщества молодых неразумных тел на то, что кажется таким отдельным и потому — смешным.

Только поздно вечером, уже выпив, отец заходит в комнату и, пошатнувшись, зачем-то прижимает к себе. Голову гладит жесткая, бугристая ладонь. Рядом с животом неудобно, туго и тесно, но рука притискивает к нему невозможно нежно, ласкающе.

Отец наклоняется и целует в макушку, между волос:

— Все будет хорошо, только не переживай.

— Да там... — Объятия не дают сказать.

— Я вас всех очень люблю. И вы меня любите, пожалуйста, — неумело говорит отец.

После он еще недолго стоит, затем уходит. Остается пронзительное, жалостливое чувство, какое бывает, когда утешали зря. Отец не такой, каким изо всех сил старается казаться, и мысль о том, что он даже не догадывается об этом, заставляет испытать жгучий стыд. Он ничего не придумывает, а живет так, как считает правильным, с теми же, что и у всех, страхами и с той же самой любовью. Отец и вправду немного нелеп, но это не наигранность, не поза, а нечто неосознанное, какое-то искреннее неумение жить. Откуда оно взялось? От родителей? Из детства? А может, в отцовской юности тоже был кто-то, оставшийся безнаказанным, и эти его широко расставленные ноги, большой защитный живот, усы, закрывающие рот, — оттуда? Подстраховка, уловка животного мира. Отец спрятался за вторичными признаками — животом и усами. Беззащитный большой человек. Обнять нужно было его, сказать ему о своей любви. А отец, не получив этого, обнял и сказал сам.

Стыдно сильнее, чем от прохождения Вовиной игры. Издерганный, проткнутый иглами, исхлестанный, отец, распятый на экране, сошел оттуда и без остатка поделился собой. Он бы повторил это снова и снова, кто бы что с ним ни сделал. А в ответ — презрение, попытка разрушить фамильное сходство...

Невыносимо.

И во время судорожных рыданий в цель наконец-то попадают все оскорбления. Если раньше они пролетали мимо — к какому-то другому отцу, который отличался от настоящего, либо предназначались ему по справедливости как следствие его манер и облика, — то теперь, когда отец сам перешагнул через отчуждение, все бесчисленные тычки и насмешки превратились во множество открывшихся ран.

Нельзя оскорблять человека, которого не научили жить.

Кабинет психолога полон. На притащенной из спортзала скамейке ерзают люди с опущенными плечами. Они смотрят вбок, недоверчиво выглядывая из себя. Здесь, у психолога, можно. Он ловит робкие взгляды, вытягивает из отверженных слова и улыбки. Зубы у изгоев мелкие, запоздало схваченные металлом брекетов. Большие глаза за большими очками смотрят испуганно, и, даже сидя, школьники все равно дергаются, сутулятся, по-утиному изгибают шеи.

Здесь на изгоев не давят, и неловкие руки потихоньку оживают, ползут в стороны, касаются соседа. У этих рук собственная физиология: они щелкают, хрустят, умеют гнуться во все стороны. Стесняться некого. Рядом нет девочек с тщательно выпрямленными волосами, нет тех, кто панибратски беседует со школьным охранником, и тех, кто постоянно ходит с многозначительно замотанной в эластичный бинт рукой. Некому подначить на травлю, некому исполнить.

— Проходите! — Солнца за окном нет, в кабинете темно, и оспинки Локтя скрыты. — Да проходите же, не стесняйтесь!



Скрюченные тела распрямляются, позвоночники разворачиваются, выгибаются, ломают привычную форму. Некоторые изгои не могут повернуться, они слишком толсты, поэтому сначала привстают, смотрят и снова присаживаются. Скамейка скрипит, ряд сидящих стягивается, освобождавая край.

Приложив руку к голове, чтобы восстановить цепочку мыслей, Локоть продолжает прерванную речь:

— Почему преследуемый человек бежит не к людям, а от людей? Почему не на освещенную улицу, а в подъезд, в темень, за гаражи, через задний двор и черную лестницу? Гонимый знает, что опасность не только позади него. Опасны люди, само общество. Если в нем возникла травля — в очереди, в школе, на работе, прогулке, дома, — и травлю никто не пресек, значит, в ней замешаны все. И тогда в нас просыпается изначальный животный страх: мы понимаем, что мир есть сумма бездушных объектов, ждать помощи неоткуда. Поэтому мы стараемся исчезнуть, убежать, ищем щель, куда сможем забиться. Наши союзники — тьма и теснота. Они укроют, обнимут, защитят и не выдадут. Там нас никто не тронет. Одиночество спасительно, ибо травля — это проблема коллектива.

Психолог опять говорит «мы», «нас», будто пересуды в учительской равны разборкам за школой. Но вдруг... вдруг и правда равны? Есть же у учителей личный, всегда запертый туалет, вдруг они тоже вершат там свои грязные дела...

— И все же травля не была бы травлей, если бы не пыталась отнять нечто большее, чем безопасность. В момент травли гонимые вынуждены остро переживать свою оставленность. Они не успели спрятаться, они у всех на виду, а когда наше одиночество видно всем — оно называется беззащитностью. Ее человек вынести не в состоянии и потому начинает сам себя изводить. Гонимый упреждающе себя наказывает: калечит, истерит, подставляется, чтобы получить пощечину вместо пинка. Он защищается тем, что сам становится одним из своих гонителей. Повторяет все их действия, поддывается под них, хочет ударить себя до их замаха: «Если я сделаю за них всю работу, им незачем будет унижать меня!» Это апофеоз любой травли. Не банальное уничтожение — иначе травля не отличалась бы от убийства, — а превращение жертвы в мучителя самой себя. Смысл травли не в том, чтобы кого-то преследовать, а в том, чтобы гонимый поверил в необходимость такого преследования. Травля должна быть принята им с осознанием собственной неправоты. Она должна стать желанной: «Хорошо, что меня бьют! Меня надо ударить сильнее! Я это заслужил!» Есть люди, которые наслаждаются своей казнью так же, как их палачи...

Речь психолога не из этого времени. Он говорит, зачерпывая откуда-то *иные* слова. Паства улавливает не смысл, а тон — вкрадчивый, доверительный. Локоть проповедует для немых, говорит для жителей тишины, и изгои, привыкшие к скособоченным мыслям, внимают ему.

В негодной, лоснящейся одежде сидит Недоносок. Одежда с рынка, а не из магазина, и для травли этого оказалось достаточно. Вместо положенных брюк Недоносок уже пару лет носит черные джинсы. Они смешно облегают выросшие к восьмому классу ноги и обтрепались внизу до седой бахромы. Однажды Недоносок застигли в туалете, когда он подкрашивал ее черным маркером. Он взял его тайком у учительницы, которая, узнав об этом, устроила ему публичный разнос, — и весь класс замолчал, вдруг заметив лоснящиеся черные джинсы, пожелтевшую нестираную рубашку и отсутствие пиджака. Под эти крики и родился Недоносок — тот тип изгоя, который создают учителя.

Рядом тихонько жметя хуленькая девочка с жидкими косичками. Девочке еще не исполнилось четырнадцать, она хрупка и истощена. В седьмом классе у нее так и не пошли месячные, и это стало причиной насмешек тех, кто уже считали себя женщинами. И все остальное у нее тоже было поздно, плоско, незрело, и так хотелось как у остальных, что обычная шестнадцатистраничная тетрадь в клеточку была превращена в самодельный паспорт. С вклеенным снимком, подписью, указанием, кем и когда выдан, пропиской — словно скрупулезное сходство могло ускорить получение настоящего документа. Этот, ненастоящий, был выужен из портфеля на одной из перемен и во всеуслышание зачитан на камеру. Каждой страничке досталось по едкому комментарию, а на «семейном положении» и вовсе раздался взрыв хохота. Когда девочка вернулась в класс, она онемела, вдохнула — и не смогла выдохнуть, стала еще тоньше, незаметнее и тихо опустилась за парту, куда шлепнулся ее порванный «документ». И даже здесь, у психолога, она сидит зажавшись, будто в тисках.

Вот Дед-Доед, десятиклассник из бедной семьи. Если бы льготников не кормили за отдельным столом, никто бы и не заметил, что у Деда-Доеда осунувшееся, будто уже старое, лицо. Он производит впечатление взрослого, и то, что этот «взрослый» до сих пор не может заработать себе на нормальный обед, стало причиной насмешек. Все едят что-то с котлеткой, льготники — пустые макароны или пюре. По субботам всем дают сок, а льготникам — только компот. Дежурные, накрывающие особый стол, называют его «гетто» — там никогда нет борща или булок с повидлом. К тому же здоровенному Деду-Доеду приходится сидеть рядом с мелюзгой, среди которой он возвышается как старая обветренная каланча. Он всегда голоден, и однажды, когда кто-то в шутку предложил ему доесть свой обед, Дед благодарно сгреб вилкой чужое месиво на свою уже вычищенную тарелку... Раздался вопль, полный брезгливости. Кто-то сделал вид, что его стошнило. После этого Деду стали подкладывать в рюкзак кости, огрызки, приносить тухлятину... Он сносит издевательства молча, словно не понимает их. Он огромен, добродушен... и ему просто хочется есть.

И вот еще, целая скамейка, у каждого своя история, которую не рассказать полностью, ибо часть ее там — в телефонах, в закрытых бе-



седах, в сетях, только для отвода глаз названных социальными. Травля эволюционировала, она больше не заканчивается с последним уроком, а заполняет досуг, течет по проводам, стучится в телефон новым уведомлением. От нее не скрыться дома, она выбралась из школы, расползлась широко, сразу во все стороны. Она постоянна. Травля ушла в «цифру» и умножила то, что и так было невыносимо. Там, в виртуальном пространстве, создаются закрытые группки. Составляются планы атак, привлекаются добровольцы. Идут жаркие обсуждения. В цифровой реальности нет трения, там не получится затормозить. Скорость только растет: издевательская картинка, видео из столовой, видео из туалета, избить, опустить на вписке, столкнуть с лестницы, ткнуть циркулем в спину, наехать машиной (поскорее бы дали права!)... Что угодно, лишь бы увеличить просмотры. Там, где коллектив состоит из зрителей, травле аплодируют стоя.

Ее больше нельзя скрыть от оставшихся на даче или в прошлой школе друзей. Найдется доброхот, который выложит заснятые пинки и шлепки в открытый доступ, а то и пришлет специально, и этого будет достаточно, чтобы друзья отвернулись, побоявшись «замараться». Будут отсмотрены все группы знакомств, и не позавидуешь несчастному, кто пробовал найти в них свою любовь. Увлечения, секции, предпочтения тоже будут общены к делу. Главная охота развернется за личной перепиской, которую добудет лучший друг или вдруг улыбнувшаяся девушка, и горе тому, кто жаловался в ней на своих гонителей. К нему тут же подскочат, встанут стеной: «Ты че, тварь, попутал? Извинись. Громче! Пойдем разберемся. Ссышь, да? Уже не такой борзый? Ну-ну, гуляй. Выщелкнем».

— Человек — это животное, которое изменяет собственную породу, — говорит Локоть. — Вот почему гонители хотят, чтобы мы ненавидели собственные тела. Травля — это поощрение отвращения к себе. Нет, хуже! Травля — это внушение уверенности, что для отвращения и ненависти есть причина. Кажется, найди ее, исправь — и все переменится. Но почему мы должны меняться по чьей-то прихоти? Кто сказал, что в нас что-то не так? Каждый из нас неповторим, и в этом нет зла. И тем более это не повод для преследования. Поймите, травле на самом деле безразлично, как вы одеваетесь, как говорите и как выглядите. Травля хочет привести вас к общему знаменателю, заставить думать как она, говорить как она и гнать других так же, как гонит она. Так гнут к земле тонкое молодое деревце, ожидая, когда оно сломается. Мы не сломаемся. Пусть нас вывернут с корнем — мы не сломаемся! Вы слышите меня? Пока я здесь, никто из нас не согнется!

Все замороженно внимают Локтю. Его речь непонятна, из нее считывается только один посыл: взрослый за нас, наконец-то есть кто-то, кто нас защитит. Психолог ближе, чем классная, но дальше, чем родители, — сверкающая золотая середина. От него ждут немедленного спасения, освободительного похода с четвертого этажа на третий, но Локоть лишь повторяет:

— Не дайте им согнуть вас! Отвечайте: «Да, я такой, и я нравлюсь себе». Не ненавидьте себя. Вы прекрасны.

Психолог чуть мешкает и застенчиво добавляет:

— Только вы и прекрасны.

Изгои недоверчиво хихикают. Локоть не знает или не хочет знать, что среди них есть неисправимые ябеды, получающие удовольствие как от доноса, так и от наказания за него. Есть те, кто ворует, живет обманом. Есть изгой, который сам бьет более слабых. Развесили уши сплетники, пришедшие к Локтю лишь затем, чтобы потом, захлебываясь слюной, рассказать обо всем гонителям. Большинство изгоев знают: их невозможно любить.

Локоть не замечает смешков. Психолог приоткрылся, на просветлевшем лице теперь видна каждая оспинка. Маска, если она у него была, сброшена, и кажется, изнутри Локтя бьет бледный закатный свет, розовый луч зимы.

— Я говорю для всех вас. Для всех кривых, хромых, косоглазых, с неправильно растущими зубами и сутулыми плечами, для заикающихся, картавящих, близоруких, для толстых и тощих, рыжих, пахнущих и шершавых. Я люблю вас. Люблю странных, почти сумасшедших, необыкновенных, медлительных, упавших, отставших, люблю испуганных, отверженных, заблудившихся, нынешних, минувших — всех вас я очень, очень люблю! Я верю, что вы — только вы! — живые и настоящие, ибо вы несовершенны: поражены недугами, с веснушками, вмятиной на затылке, впалой грудью, родинкой над губой, у вас тонкие ноги и непрямая спина. Выбившиеся из колеи, не попавшие в струю, не презирающие, а не замечающие этот мир, — вас, только вас я искренне и навсегда люблю!

Скамейка притихла. Прыщавые лица заливают краска. Непонятный взрослый человек раскрылся, хотя никто не хотел видеть его душу обнаженной. Есть что-то неприличное в такой любви. Словно ему, Локтю, от изгоев нужно больше, чем им от него. Молчание сменяется хихиканьем, и кажется, что, если так пойдет дальше, изгои начнут травить самого психолога. Им ведь тоже хочется. Изгои уже шепчутся друг с другом на ушко. Локоть странен даже по их меркам. Он совсем не такой. Совсем.

Психолог протискивается вдоль скамейки и зажигает свет. Его глаза потухли, узкий подбородок клонится вниз. На что он рассчитывал? Неужели думал, что его поймут? Да и как такое вообще понять?

Чего же, чего он хочет?

Они поджидают за трансформаторной будкой. До подъезда остается двадцать шагов, но Пальцы выходят наперерез и встают точно так, как заранее расставило униженное воображение: коротенький мизинец Фурса в смешной дутой куртке; чуть приотставший безымянный Чайка, покрытый легкой кожаной оболочкой; срединная колонна Копылов, одетый тонко, зато дорого и тепло; указующий перст Гапченко в шапке с веселым помпончиком; большой — застенчивый пуховик, Вова Шамшиков.



— Здарова. Пойдешь на вписку бухать?

— Привет. — В голосе недоверие. — Сегодня? С вами?

— С нами, — лукаво отвечает Чайка. — Или уже с кем-то другим забился?

— С Па... — не вовремя пищит Фурса.

Но его прерывает Копылов:

— Там не только мы вписываемся.

— Тяночки будут! — мечтательно трясется помпон.

Западня очевидна. Наверное, Шамшиков постеснялся дать мудрый совет. Пойти? Ну да, конечно... Сначала предложат выпить, потом окружают, наведут камеры, начнутся вкрадчивые расспросы — предварительные ласки любых унижений. Или подговорят неизвестную давалку, обожающую чужой позор. А может, науськают незнакомого борцуху... Может, все может быть.

— Спасибо, не могу. Дел много.

Пальцы злорадно переглядываются. На лицах улыбки. Ага, значит, Шамшиков все-таки дал им совет.

— Тогда плати дань, — стянув глаза в щелки, говорит Копылов.

— Какую дань?

— Какую! — Куртка Фурсы, похожая на детский комбинезон, надувается от злости. — До сих пор не дошло?

— Чтoб к вечеру скинул фотки Папика, — чеканит Рома Чайкин, и нахмурившееся лицо Копылова озаряется. — Тариф такой: фотка Папика в день — и живешь ровно. Не присылаешь... ну, понял, в общем.

Пальцы одобрительно гудят. Поддакивает даже Вова Шамшиков.

— Какого Папика? — Мороз с улицы пробирается под одежду.

— Ну, батя, отец... — удивляется Копылов. — Живешь же с ним. Только чтобы нормальная фотка была. В профиль там, либо в этот, как его...

— Анфас, — машинально подсказывает Шамшиков.

— Да. Попроси его, в общем, встать как-то, не знаю... Чтобы усы, главное, видны были. И живот. Он же дома в труханах рассекает?

Отступать некуда. Родственные связи установлены, пора бить, защищаться. Ведь было же решено — как только оскорбят напрямую, без иносказаний и карнавала, сразу последует ответ. А если отступить еще на шаг, болезнь разъест нутро и дух провалится в пустоту. Надо действовать. Зараза застарела, запеклась бугристой коричневой коркой, нужно подцепить и дернуть, чтобы брызнула мутная вонючая сукровица, подставить преющее мясо воздуху и огню — и так освободиться от боли.

— Соглашайся! — соблазняет Чайкин. — Все честно, без обмана.

Пальцам кажется, что это справедливо — ведь если человек странен, стоит наказать его, — но их травля глубже, она не о животе и усах, не о самоутверждении, не о чем-то социальном и подростковом. Она глубже учебников по психологии и людей, которые их читают. Подлинная травля невыразима и не поддается анализу. Она просто есть. Вот так вот сцепи-

лись молекулы, вот так притягивают друг друга галактики, это данность, главное условие бытования, ибо одно может существовать только в отношениях с другим. Здесь нет тривиальных причин, а только Причина: неизбежная обусловленность всех — каждым. Страшно, если травля — это другое название бытия.

— Больные, что ли? Не буду вам...

Подсечка, валят в снег. Зимой бьют сильнее: тело скрыто под несколькими оболочками, его хочется достать, а не получается, отчего накатившая ярость плавит снег, эту первую оболочку. В него не так страшно кинуть, вбить, закопать. И он так мягок, всепоглощающ... Одежда — вторая оболочка. Побуждает сильнее ударить, пнуть. Нога пружинит от синтепона, можно бить не боясь. Шапка, шарфы — третья. Лица не видно, а значит, не видно и человека.

Точный удар в скулу — Копылов, его ботинок. А вот неуверенный тычок Шамшикова. Его оттягивает Гапченко и говорит:

— За тебя я сделал, не надо.

Боль не чувствуется. Летом, осенью или весной иначе: там грязь, камни, лужи, мусор, непокрытая голова, руки без перчаток, под одеждой сразу кожа и кости — подходи, вырази себя! Зимой нападающим приходится срывать с жертвы оболочки, словно с завернутого подарка на день рождения. Это непросто: мороз сковывает, мешает телу двигаться, леденит мысли. В холод травля забирается в дома, греется у печки, расползается по коридорам и комнатам. На улице она жестока, но почти бессильна.

Пальцы недолго пинают сугроб, затем поочередно прыгают, вдавливая в снежную кашу. Шамшиков тоже участвует — и плюхается вниз с удивленным вскриком, будто запнулся. Все припечатывают плашмя, горизонталью всего тела, и только тяжелый Копылов зло топчется обеими ногами. Пальцы не удовлетворены, их пожирает изнутри невозможность высказаться окончательно, сделать что-нибудь, что даст наконец полностью разрядиться и успокоиться. Они оглядываются, видят укромный угол, тащат туда. Копылов приспускает штаны, тужится, но из-за мороза ничего не выходит. Шамшиков с удивлением смотрит на друга и что-то говорит на ухо Гапченко.

Фурса с проклятиями виснет на ветке клена, надеясь сломать. Он хочет использовать ее как дубину — ударить с замахом, но не может победить замерзшее дерево. Рома насмешливо разглядывает Копылова, а затем присоединяется к Вове с Тошей. Они смеются. Отпустив ветку, Толя пытается вытащить из фундамента шаткий кирпич. Он видит, что у Пальцев ничего не получается, и хочет всех спасти, кричит, чтобы ему помогли, чтобы тоже искали. Но его никто не слушает. Рома веселит обнимающегося Гапченко. Сейчас бы лето, ну хотя бы апрель или сентябрь, тогда бы и ветка сломалась, и нашелся бы камень. Только взяв в руку орудие, можно покончить с затянувшейся травлей, а главное — с жутковатой щекочущей дрожью, от которой немеет живот.



Последний усталый удар на время пресекает дыхание. Сверху, за-
слоняя небо, наклоняются Пальцы.

Филиппу Копылову — пятнадцать. Владимиру Шамшикову — пят-
надцать. Антону Гапченко — пятнадцать. Анатолию Фурсе — четырнад-
цать. Роману Чайкину — пятнадцать.

Мать ничего не замечает. Покормив, она выдает бокал со сломанной
ножкой:

— Поможешь?

Раскатанное тесто в страхе скукоживается перед бокалом. Это луч-
шая в мире работа — вырезать кружочки из теста. Воспоминание при-
ходит неожиданно, из детства, когда за столом еще сидят бабушка с
дедушкой. Вокруг шумно, тепло, оставшиеся ошметки теста вновь пре-
вращаются в блин, к которому надо примерить бокал. И кажется, что вся
жизнь будет не менее захватывающей, чем лепка пельменей...

— Давай шибче! Загружать пора.

На самом деле мать никуда не торопится. К вечеру она успокаивает-
ся, ее согревают законченные дела. Они с удовольствием вычеркнуты из
списка, который с утра подгонял. Что-нибудь обязательно забудется, но
переделано все равно больше, и можно тихо посидеть за столом, расспро-
сить домашних, как прошел их день, и рассказать о своем.

— Слушай, а почему ты вечно куда-то спешишь? Что может
случиться-то? Пельмени выкипят? Или что?

Плита надышала на кухонное окно, с верхних полок спускают усики
чахлые растения. На кухне хорошо, душно.

— Я боюсь не успеть, — следует усталый ответ. — На мне столько
всего.

— И это так страшно? — поднимается раздражение.

— Всегда есть чего бояться, — отвечает мать.

— Например?

— Бандитов.

— Каких еще бандитов?!

— Обыкновенных. Папу нашего, между прочим, похищали.

— В смысле?

— Он не рассказывал, что ли? — удивляется мать. — Папа тогда
дело свое открыть пытался, взял денег не у тех людей, а отдать не смог.
Его прямо из кабинета выдернули, сказали: «Сроку тебе три дня. Если
не соберешь — узнаешь, сколько человеку земли нужно». Времена лихие
стояли, сплошь и рядом такое было. Компаньоны его сразу разбежались,
а я, беременная, три дня не спала, бегала деньги занимала. Собрала кое-
как, отнесла — и ничего, выпустили из подвала папку-то... Даже вежливо
попрощались. Он меня потом так крепко обнял...

Кажется, сейчас прозвучит: «Ну что, можно мне теперь торопить-
ся?» — но мать замолкает. Она выше любых насмешек.

Снова стыдно.

Отец вваливается после работы мокрый, пахучий, густые усы ползут вниз. Он заходит, крикает, раздевается в прихожей, раздевается в спальне и шлепает на кухню в одних трусах, натянутых до пупка. Уминает первую порцию, уминает вторую. Рассказывает забавный случай с работы. Мать отвечает нежно, все еще влюбленно. Передает хлеб.

Вечерний стол не похож на утренний. Он нетороплив, ни у кого не чувствуется стремления «перекусить по-быстрому». Хочется остаться на кухне, и чтобы всегда был вечер, пропахший лавровым листом, и никуда больше не ходить, потому что там, вдали от домашнего очага, как и тысячи лет назад, — холодная безразличная тьма...

Телефон.

Он звонит оттуда, из комнаты с разбитым окном. Звук гуляет по коридору, подленько затекает в кухню. Писклявый настойчивый звон. Отдать бы все пельмени на свете, лишь бы не слышать его.

— Трубит. Уф... — Отец икает сытым мясным душиком.

— Иди бери, может, девушка какая, — подмигивает мать.

Вот именно — какая?

Телефон ползет по столу. Он наверняка живой, все здесь подслушал и передал. Там приняли и решили: сейчас дотянемся, напомним о себе. Никого больше не оставят в покое. Враждебная, навязанная машина...

На экране красный и зеленый кружки. Липкий палец не сразу попадает в зеленый.

Звонит Вова Шамшиков.

— Да?

— Привет. — Странно, это и вправду Шамшиков. Обычно с его телефона набирали, когда хотели, чтобы на этом конце взяли трубку. — Что делаешь?

— Ничего. А ты?

— Да вот на вписке сижу. — Слышна музыка, вопли.

— И как там?

— Ну такое, знаешь...

Вова Шамшиков слегка пьян. Когда он вернется к бабушке, его выдадут розоватые щечки. А пока легкое опьянение что-то внутри приоткрыло, подтолкнуло сказать. Вова мнетя, будто остался наедине с Гапченко.

— Это... прости меня, хорошо? — вдруг просит он сбивчиво. — Вот за то, что сегодня. Я не хотел. Я как бы дружу со всеми и не могу иначе. Прости, а? Это не от страха, нет... — Голос Шамшикова срывается. — Просто все... как-то нехорошо. Мне стыдно. Очень. Прости меня.

— И за геометрию тоже стыдно?

— А что там? — волнуется Шамшиков. — Я же помог на контрольной!

Компьютерная игра Шамшикова вышла из моды. За нее даже не очень обидно: отличник должен был вложиться в травлю и сделал это так, как умел. Но вот та подписанная окружность на доске... нет, такое трудно



простить. Больно не от того, что выглядит неизбежным, а от вот этих самостоятельных мелочей. Уж они-то во власти того, кто пакостит, и если бы Вова действительно не хотел, их бы не было. Но Шамшиков хотел. Он был последышем, ступал в уже поставленный отпечаток... Нужно ли прощать тех, кто всего лишь не хотел идти первым?

— Что там с геометрией? — напоминает Шамшиков.

— Ничего. Проехали.

— Ладно... И это, еще... — Вова мнется.

— Что?

— Не злись на Антона. Он нормальный...

— Нормальный?!

— Он в этом участвует, потому что ему весело, а не потому, что хочет обидеть.

— И что? — В голосе горечь. — Думаешь, легче стало?

— Думаю, не легче, — быстро шепчет Вова. — Но остальные... Чайка там, Фил, Толян... они хотят унижить намеренно. Они знают, что делают больно. А Антон ни о чем таком не догадывается. Он считает, что весело *всем*. Понимаешь? Всем.

Всем — это значит каждому.

Шамшиков пытается объяснить, но музыка становится громче, затем доносится возглас «Восанька!» и связь пропадает. Антон все-таки разыскал друга.

Возвращаться на кухню не хочется. Не хочется вообще ничего. По улице проползает машина, и длинные тени протягиваются по потолку.

Телефон снова звонит.

Толя Фурса.

Ответить?

Это не пьяненький стыд Шамшикова в отдаленной комнатке, а довольное пьянство за столом на диване. Там наверняка полно девок и спортсменов, среди которых мешковатого Толю вообще не видно. Удивительно, что Фурса не набрал раньше.

— Привет. — Сердце сжимается.

— Приве-е-ет!!! — орут по громкой связи сразу все Пальцы, а затем кричат по отдельности: — Папик! Папка! Папуля!

Шум спадает, и совершенно угашенный Толя вопит:

— Здравова!!! Давай подтягивайся! Ждем!.. Эй, отвали! Ай... Так, тут Фил хочет поговорить...

Из трубки доносится визгливое требование Копылова:

— И чтобы Папу привел! Будет битва двух ёкодзун*! Да, Толик?

Фурса что-то лепечет. Сейчас издеваются над ним, и Толя жаждет найти кого-то ниже себя. Надо бы помочь, прийти к Пальцам, чтобы они накинулись, а Толя воспрянул, но жертвовать уже просто нечем.

— Чайку дай. — Просьба выходит глухой, осипшей.

* Ёкодзуна (яп.) — высший ранг борца сумо.

— Чайку? — Воочию видится, как Толя хлопает глазами.

Откуда-то сбоку кричит Гапченко:

— Роман, отвлекитесь от девушки! Вас тут просят!

Через полминуты раздается ленивый, уже почти взрослый голос:

— Чего хотел?

Рома ждет сбивчивой исповедальной речи, переходящей от проклятий к рыданиям. Чтобы сопли, мат, а потом, когда все закончится, поставленная на повтор запись — и новый издевательский смех. Пусть так, но Рома хотя бы услышит, и, может, внутри него что-нибудь шевельнется. Уже хочется хлопнуть, излиться, но некстати вспоминается Локоть. Психолог разочарованно качает головой. Что он пытается сказать? Наверное, что травля сама ждет развязки. Она сама успела известись, ей мучительно хочется разрыва, дыры в пространстве, которая всосет в себя воздух, истерзанный финальной речью. Чтобы тот, кто был меньше и слабее, сначала воззвал к прошлому, где хвастались пеналами, а потом бы только и делал, что вопрошал: за что, за что, за что?! И вот тогда ему скажут «за что», скажут нежно, всего в двух словах, но их хватит, чтобы растянувшаяся травля завершилась и тот, кого все это время преследовали, наконец возненавидел себя.

Нет, Локоть прав. Они этого не получают. Они вообще ничего не получают.

— Завтра тебе в школе конец, — звучит твердое обещание.

Взвизги переходят в хрюканье. Притаившиеся бабы на все лады склоняют «конец». Слово звучит глупо, совсем не по-мужски, будто происходит ссора в песочнице.

— Прямо конец? — насмешливо уточняет Чайка. — Уверен?

— Да. Тебе конец.

В этот раз выходит значительнее. Веселье стихает.

Вот тут Локоть уже не прав. Чего бы он там ни наплел, месть отыщет нужный объект. Пусть травлю нельзя победить, но из нее всегда можно выдернуть того единственного, кто ответит за все.

Ромы Чайкина будет вполне достаточно.

— Что ж, тогда не опаздывай, — хмыкает Чайка и отключается.

Больше никто не звонит.

С кухни долетают голоса. Родители выпивают за сериалом, обнявшись. Там тепло, хорошо, есть запахи и объем, можно вывалиться из плоскости в полный, трехмерный мир. Так было раньше, но беспричинность детства утрачена, и на ее место пришла жесткая обусловленность подступающей зрелости. В ней принято быть самостоятельным — то есть быть одному.

Тяжесть принятого решения вдавливают в кровать. Сон безрадостен — за ним утро, где придется исполнить обещанное. Грядет обычная подростковая толкотня: несколько ударов по лицу, сцепка, валяние по полу, развод по углам, — но члены немеют, а язык сохнет, вспоминаются речи Локтя. Драться будет не Рома Чайкин и даже не Пальцы, а нечто стоящее за ними, истинный хозяин жизни. Это не победить, и не полу-



чится за что-то там постоять. Ладонь не превратится в кулак, а рука, как и обещал Локоть, не согнется для боя.

Локоть... В голове опять обрывки его разъяснений.

Травлю пытаются свести к частностям. Говорят о травле толстых и тех, кто героически борется за свою самость. Увлекающиеся тем, что не принято, покрасившие волосы не в тот цвет и выбравшие иную музыку — эти, мол, отстаивают подростковое право быть собой. «Будь собой, выпрями спину!» — и ни слова о том, чтобы разрушить концлагерь, а он растет, пухнет с каждым втиснутым в него отличием. Когда-нибудь их накопится слишком много — и меньшинства подвергнут травле бывшее большинство, и будет крик, стон, вой о гибели... Хотя еще в школе учат, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

А пока травля дробится, прячется в сети извилистых трещин. У каждой из ее разновидностей свое имя и усложненный язык, густо приправленный заимствованиями. Призванный объяснить, он при этом скрывает главное: травлю нельзя называть другим словом, она всегда остается травлей. Думали, социальная проблема, а это метафизика. Жертвы же в лучшем случае просто хотят любой ценой выбраться из перемальвающего их механизма. Они не задумываются, кто и зачем собрал его и был ли он вообще кем-то собран. Может, он существовал всегда.

Страшно. Хочется остаться дома, как в стакане, накрытом хлебом.

Всего через несколько часов придется столкнуться с тем, о чем пророчествовал Локоть. Встреча неизбежна, и это делает ее невыносимой. За словом «невыносимо» находится то, чему нет ни имени, ни свидетелей, — не поддающийся описанию ужас, сквозящий из-за дверей, которые открываются только в одну сторону.

И способ запечатать их тоже один.

Закрывать глаза. Перевернувшись, уколотся о крошку. Разлепить веки.

Как, уже утро?

Впервые не нужно проверять мобильник. Он хочет ожить, подползти, ткнуться прямо в лицо, чтобы от страха перед пришедшими за ночь сообщениями расширились зрачки. Не в этот раз, телефон. Ты больше не нужен, свети в подушку. Без тебя ванная — снова ванная, где раковина весело встречает тугую струю.

На кухне мать домывает посуду. В холодильнике пиала пельменей. «Отцу», — быстро говорит мать. На столе молоко, хлопья, два бутерброда с сыром. Один не доест, тоже оставить отцу, который, выпив вчера, проснется поздно, после всех. А значит, можно не боясь зайти в комнату родителей, взять из вазочки ключи и открыть сейф. Там документы, немного денег, бутылка и пистолет. Пистолет взять себе. Бутылку сегодня возьмет отец.

Он тяжело сопит, закутанный в одеяла. Медленно поднимается и опускается белая клокочущая сопка. Что за сны она видит? О собствен-

ном могуществе или бессилии? Никто не знает. Ни про кого на этом свете ничего не угадать.

Мать стоит в коридоре, наблюдая за одеванием. Наверное, в этой сцене есть что-то от детства, когда ребенок пытается сделать все сам, у него не получается, он торопится — и не получается еще больше. В под-ростке пока видна эта детская торопливость, ботинок не сразу налезает на ступню, потом не сразу сходится молния. Мать любитесь проходящим детством, ей хорошо, — она не знает, что сейчас, прямо в этой прихожей, навсегда проходит что-то еще.

Может, сказать ей? Если кто и поймет, то только мать. Ведь она обещала...

Дверь с лязгом затворяется. Звонить — значит разбудить отца. А ему и так скоро вставать.

До школы те же сто сорок шагов. Впервые надо идти медленнее — чтобы опоздать. Вот она, за ветками клена. Большая, цвета недозрелой ягоды. Таращится, ждет, совсем не пахнет. Школа, нелюбимая и нелюбимая, срыть бы тебя да просолить получившийся пустырь! Хотя бы выйти, сказать: не надо, можно и без тебя. Ты — дом травли, ты, словно в насмешку, стряпаешь коллективы из совсем непохожих людей. Класс на класс, учитель против учителя — в твоей власти перессорить всех. Издалека виден твой порядковый номер, словно говорящий: «Одолеешь меня — есть еще тысячи. Сдайся, отсиди свое — и молись, чтобы не вернуться сюда учителем. Что же до моего аромата... Если принюхаться, можно различить запах мокрого мела, туалета, вымытого техничкой пола, мужской раздевалки, столовой, свежей сентябрьской краски, старого мяча в спортзале, пыльного учебника и влажного к зиме vestibюля. Но у меня нет общего запаха — такого, каким пахнет что-то цельное и совокупное. Почему? Потому что пахнут живые — те, кому есть на что распасться, а меня надо всегда воспринимать слитно, я не живая и не мертвая, вот почему я совсем не пахну».

— Опоздал! — уверенно заключает гардеробщица. Сегодня ее па-сьянс сошелся.

Пистолет заткнут за ремень сзади, там приятная тяжесть металла. В кармане два запасных магазина. Они нужны просто ради веса, Роме Чайкину хватит и одной пули.

На перилах набиты брусочки. И без них бы никто не катался. Тусклое освещение, мрачные синеватые стены, капли коричневой краски и грязные пятнышки прилепленной жвачки — зачем съезжать вниз, в толкучий ад гардероба? Смешно, засунув руки в карманы, с размаху перепрыгивает ступени старшеклассник. У него хорошая, широкая спина. Парень оглядывается, узнает и приветливо кивает. Ответить не получается: лестница перед вторым этажом заканчивается слишком быстро.

Коридор пуст, в нем истаивают чьи-то шаги. Где-то хлопает дверь, из ближайшего класса течет разноголосый гул. В подступающей тишине безлюдный коридор выглядит неприлично, словно видишь то, чего ви-

деть не должен. Блестит оргстеклом расписание. Журчит заплеванный фонтанчик. За окнами еще зимняя тьма, под потолком — мертвенный люминесцентный свет.

Пол больше не прогибается, гниль затвердела, смотрит из протертостей и дыр трупными пятнами, сочится чернотой, как из рваных ран. Сегодня линолеум выстужен, жесток, натянут. Скоро по нему побегут, споткнутся, упадут на него. Лишь бы никто не помешал. Решимости хватит только на один раз, любая мелочь или ошибка развеют ее.

Когда до двери остается несколько шагов, а рука уже тянется под рубашку, раздаются шаги и из-за угла появляется Локоть. Психолог подходит к расписанию и начинает рассеянно водить по столбцам пальцем.

Шаг сбивается, рука возвращается обратно. В кармане звякают магазины.

— А, приветствую! — Локоть только сейчас замечает, что он не один.

— Здравствуйте.

— Кабинет ищите?

Он что, понял? Сейчас подойдет, вырвет украденную сталь, прикажет: «Ко мне наверх, живо!» Но Локоть стоит, безмятежно улыбаясь, у расписания. Черные волосы взъерошены, лицо рябое. Глаза обычные, не отличить один от другого. Нет, он ни о чем не догадывается.

— Ну да... Кабинет.

— Так вас же переселили. Теперь в триста пятом вроде... Ага. В триста пятом, — Локоть скользит взглядом по расписанию. — Да где мой класс-то?! Что за колдун это составлял? Я запутался!

В триста пятом? На этаж выше? Точно, классная что-то говорила... А ведь если бы сейчас приготовился, вдохнул и вошел, то увидел бы чужие лица, встретил оторопь, затем смех — и все было бы кончено. Второй раз войти вот так, с мыслями, на которые решился ночью, не получилось бы. Отступившая невыносимость вернулась бы и раздавила, тихо опустив за парту. И где-то позади ухмыльнулся бы Рома Чайкин, так ни за что и не ответивший.

— Спасибо, — тихо звучит благодарность.

— Да не за что, — отмахивается психолог. — Ну, давайте, не опаздывайте!

Локоть остается переписывать расписание. У него нет телефона, чтобы сфотографировать нужные строчки. Все-таки он излишне старомоден. Изгой так и не смогли понять его. Что он вообще пытался сказать? И кто его послушал?

«Травля — это проблема коллектива», — зачем-то всплывает в голове.

Лестница поднимает еще на один этаж. Здесь коридор тоже пуст. Шаги по нему легки и приятны. Согревшийся пистолет оттягивает руку.

Ладонь ложится на ручку двери.

Травля — это проблема коллектива.

Ольга АНИКИНА

ТИХИЙ ЦИКЛ

1.

туда-сюда вдоль берега бродить
и головы не поднимать все лето,
как будто дали мне переводить
какого-то китайского поэта.

внизу песок да редкая трава,
и у воды, такой же иллюзорной,
я шелковые вижу рукава,
которые касаются едва
зеленоватой радужки озерной.

и нет на свете ни людей, ни книг.
весь день хожу, обняв себя за плечи,
где медленно качается тростник
и сосны говорят на медленном наречьи.

2.

силициум — песок, силенциум — молчанье,
стеклянный муравей, ползущий на закат
вдоль зыбких галерей
и травяных аркад,
что над сухой землей расходятся лучами,
и розовый вдали горит чертополох.
сползает медленно кипучий медный мох
на камни рыхлые с покатыми плечами.

как муравьиный страж, я замедляю шаг,
 мне чудятся слова и проплывают мимо.
 так угловата речь, и неуклюжа так,
 что истинность ее с рожденья оспорима,
 и медленный глагол, прозрачный и слепой,
 как муравей, ползет под неусыпным взором.

так пилигрим бредет священной тропой,
 так римлянин спешит, пересекая форум.

3.

они еще целуются, стоят
 у самой кромки Финского залива,
 похожие на выброшенных рыб,
 и чуют смерть,
 хватают воздух ртами,
 а вместо вдоха получают — губы
 да соль земли, горчайшую на вкус.

они еще целуются, а мы
 вдоль берега в молчании проходим,
 глядим на чаек, ищем гребешки

 нам что не больно — то уже смешно.
 что больно — тоже повод для улыбки.
 бежит собака, облако бежит,
 скрывается в тени за валунами.

...они еще целуются? о да!
 ах, юные, больные и смешные.
 ну ладно,
 что тебе теперь до них.
 пойдём домой, я чайник вскипячу.
 ты помнишь, как смешливая волна
 выбрасывала нас на зыбкий берег?..

мы были дети солнечной Эллады,
 и нами олимпийцы любовались,
 пригубливая медленный напиток
 из круглых чаш.

4.

заливайся, пташечка-соловей,
 соловей и пой о любви своей,
 забывая дышать на вдохе,
 где сирень горька, и мокра трава,
 и скрежещут черные жернова
 по твоей эпохе.
 где прозрачна времени вертикаль.
 мальчик мой, соловушка, нахтигаль,
 успевай, лови ее, настигай,
 ты еще подышишь
 напоследок, прежде чем замолчать,
 бросишь камешек — будет он стучать
 по железной крыше.
 стихнет песня, словно река в снегу.
 бессловесны скалы на берегу,
 черной лентой увиты ели.
 соловей не слушает пустельгу.
 он всегда в долгу — перед тем в долгу,
 кто жестоко выгнул его в дугу
 на предельной трели.

5.

не знаю, может быть,
 я тоже Твой цветник,
 а сердце — это просто
 тюльпан.

он на зеленой держится аорте,
 качается и спит в Твоей руке.

6.

как в ледяной воде
 мелькание малька
 неуловимо —
 так
 потерянная нота
 звенит, звенит, звенит

иглой в облаках,
и эхо сыплется, как будто позолота.

я тишины такой
не слышала давно.
протяжны длительности линий
за стволами.
кривыми волнами,
плывущими углами
ложится тени серое панно —

и даже в нем звенит моя игла
так тонко, что в нее почти не веришь.
и рыб таких не выманишь на берег.
и ни одну поймать я не смогла.

7.

за хлипким стеклом только холод и влага.
разбитая чашка в дырявых руках.
холодное лето — чтоб рыться в бумагах,
копаться в черновиках.

спускайся в сарай за сухими дровами,
калоши ищи, зашивай дождевик,
а после сиди, окруженный словами
и бледными лицами книг.

бреди к электричке, в обветренный город
лети над лиловым дыханьем полей.
дожди и туманы закончатся скоро.
не будет теплей.



ДРАМАТУРГИЯ

Владимир КАЗАКОВ

МАЛАЯ БРОННАЯ, 21/13

Пьеса

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Сереза, 50 с небольшим лет, обычный москвич.

Вика, невеста Серези, 28 лет, высокая эффектная брюнетка.

Лена, 38 лет.

Настя, подруга Вики, 29 лет.

Леша — ровесник, одноклассник и друг Серези, склонен к полноте.

Действие происходит в наше время в кафе на Малой Бронной улице и в квартире, расположенной в том же здании на третьем этаже.

Акт первый

Картина первая

Вестибюль кафе. За окнами на улице — теплая поздняя московская весна, ходят улыбающиеся люди, проезжают дорогие автомобили.

Сереза говорит по телефону.

Сереза. Да, отдельный. Дом — конструктивизм. В смысле? Нет, это стиль так называется. Нет, не из конструктора... Нет, не «Икея»! Девушка, вы о чем? Ему почти сто лет! Ладно, жду звонка...

Убирает в карман телефон, подходит к столику, где сидит Леша.

На столе — чашки с кофе, графинчик с водкой, стаканы с соком.

Сереза. Риелторша спросила: «Конструктивизм — это из конструктора сделанный?» Сама она из чего сделана?

Леша. Да ладно тебе... Тем более, по теории архитектуры, она в чем-то права, если рассматривать конструктивизм как удешевление и подчеркнутую функциональность...

Сереза. Леш, выпей водки! Голова трещит, а тут еще ты с функциональностью!

Леша. Если сейчас начну хлопать водку, потом не тормозну. А мне надо твою невесту увидеть, обаять...



Сережа (*сидясь за стол*). Приставать будешь?

Леша. Конечно! Зачем ей старый бессмысленный дурак вроде тебя? Сколько барышне стукнуло, ты говорил?

Сережа. А почему это я старый и бессмысленный, а ты — нет? Мы же в одном классе учились! Двадцать восемь ей... Уже.

Леша (*с ехидцей*). Я — совсем другое дело! Я, в отличие от тебя, красивый, обеспеченный мужчина на пике сил, отлично знающий, что нужно подобным барышням.

Сережа. Какой ты прямо пион на грядке! Всё при тебе! А Вика... Ну что она хочет? 28 лет, не девочка совсем, все соображает.

Леша. Ха! Послушай старого друга. Ничего они не соображают. Дуры клинические. Что в 18, что в 28, что в 48! Бабы с возрастом не умнеют, с годами они просто становятся более опытными дурами.

Сережа. Прямо все?

Леша. Без вариантов. Одного понять не могу, зачем ты женишься на ней? Зачем ты вообще женишься?

Сережа. Сволочь ты, а не друг. Ты что, не понимаешь, что этот вопрос я задаю себе с утра до вечера?

Леша. Я не сволочь. Я реалист. Зачем ты нужен молодой бабе? Ты не миллионер, не зажиточный даже. Вот перепала тебе конура в центре — тетушке твоей царствия небесного! — живи, радуйся, пукай в потолок. Нет, продаешь, чтобы купить дом! Это она придумала? На хрен тебе дом? Дурдом по тебе плачет!

Сережа. Да. Ее идея. Но, в принципе, она... Ну как сказать... Нормальная, что ли... Понимаешь, мне уже за полтинник, женат не был. А тут — бац! Дурь, говорю...

Леша. Ой, какой идиот...

Сережа. Да знаю...

Леша. Трахался бы с ней и дальше, кто мешает? Или девочке приперло в Москву из...

Сережа. Из Минска. Да нет... Я сам настаивал.

Леша. Молодость моя, Белоруссия! Ну, в принципе, да... В петлю люди тоже сами лезут.

Сережа. Слушай, хватит! Я просто хочу жить нормальной человеческой жизнью...

Леша. Нормальной? Ты что, так ничего и не понял? Ты — мусор. И я — мусор! Со своим домом на Новой Риге, с джипом «Ниссан» и с не считаешь сколькими женами и детьми... Наше поколение сунули головой в сортир и спустили воду! Нормальной жизни он захотел. При этих жуликах у власти?

Сережа. При чем здесь поколение? Я для себя хочу жизнь устроить! Для себя!

Леша. И что? Нет и не будет никакой жизни у тебя. Всё! Как говорили в одном детском фильме лет пятьдесят назад — ваше время истекло! Нас с детства готовили к другому — к другой, правильной жизни...

Сережа. Это я понимаю. Но сейчас-то...



Леша. А сейчас ты, по сути, нищий бессмысленный старый дурак. Который решил, чтобы продуть все окончательно, прыгнуть в пропасть. Кому ты нужен? Даже если выкинуть всю меркантильщину из башки — ни ты ее не любишь, ни она тебя.

Сереза. Да пошел ты!

Леша. Кто тебе еще скажет? Она? Нет. Хотя скажет, обязательно скажет... Скажет, что не может человек за пятьдесят работать в бессмысленной конторе выпускающим редактором. За пять копеек!

Сереза. Может, хватит? Да, я знаю, что ты состоятельный крот! Что у тебя всегда была хорошая зарплата! И что?

Леша. Что? А то, друг мой бессмысленный, что я никогда в жизни не жил на зарплату! Никогда! Если бы я жил на нее, я бы сейчас уныло пожевывал сопли, как и ты!

Сереза. Интересно как! Пять минут назад ты проклинал жуликов, а теперь выясняется, что сам такой же жулик! Зашибись у тебя это получается!

Леша. Никчемный мой одноклассник, то, что я тащил — а я тащил, да! — это просто статистическая погрешность! Десятые доли процента, компенсация за честность... Объемы большие. Вот и получалось, что все довольны. А сейчас хапать начинают не приступив к работе. Поэтому я их ненавижу. Мы-то пахали!

Сереза. Вот класс! Мой друг признается, что он вор и при этом убеждает, что он воровал правильно. Робин Худ! Ин зе Шервуд форест, как говорила англичанка Инна Аркадьевна в пятом классе!

Леша. Сереза, очнись! Посмотри по сторонам! (Показывает на окно.) Просто выгляни!

Сереза. И что?

Леша. А то! Видишь, проехал «гелендваген», а сейчас — «мазерати», а вон «ауди» мелькнула?

Сереза. Не глупее тебя. Район стал крутым, знаю. И что из этого?

Леша. Глупее. Потому что женишься. И не понимаешь, что на эти машины нельзя, понимаешь, нельзя честно заработать! То есть, конечно, есть люди, которые теоретически могут купить эти тачки на зарплату. Но их — единицы, десятки, ну сотни! А в Москве на таких машинах разъезжают десятки тысяч человек! И это соблазн.

Сереза. Стоп. При чем здесь эти тачки?

Леша. Повторяю: дикий соблазн! Особенно для молодых. Они же не идиоты, понимают, что на такое заработать нельзя, но все же ездят — и им никто ничего не делает! И они идут воровать. Понимаешь?

Сереза. Нет. Не понимаю. Мне надо идти воровать?

Леша. Да кто тебе даст... Там все поделили молодые волчары. Загрызут, если сунешься.

Сереза. Тогда о чем ты?

Леша. Ты так ничего и не понял. Рано или поздно... Но скорее рано — она тебе скажет: милый, хочу машинку, маленькую красненькую,

как у всех нормальных девочек. И не «корейцев» с «китайцами», а Европу. Бээмвухи девочки любят. И что ты ей ответишь?

Сережа. Ты меня совсем за дебила держишь?

Леша (с издевкой). Не накопил, родная! Родная на тебя плюет слюной и уходит к молодому-красивому с перспективой «бээмвэ», которую тот где-нибудь сопрет. Далее развод.

Сережа. Я силюсь понять, ты хочешь меня поддержать или нагадить? Какой развод, я еще не женился!

Леша. Ты прав, развод не обязателен. Тебя можно подвести под уголовку, отравить, отправить в психушку, делегировать в дом престарелых... Хотя нет! Дом престарелых я вычеркиваю. Она не будет терпеть тебя до пенсии, а имущество твое скудное отнимет сразу, попугайчик ты волнистый...

Сережа. Бред! То, что нас готовили к другой жизни, я знаю... Что жениться я поздно решил, тоже ясно. И с «гелендвагенами» все понятно — потребности у этого поколения другие... Но вот ты-то женишься, разводишься, каких-то девок юных мнешь с утра до вечера! Что же ты мне запрещаешь жить?

Леша. Дурень... Я этих девок трахаю от ужаса и безысходности! Потому что время наше ушло. Ушло с той самой советской властью, которую я люто ненавижу.

Сережа. Помню-помню, как ты в школу таскал ксероксы с этим дятлом Солженицыным...

Леша. В сущности, мы, которые так ломали советскую власть, добились своего. Нам в 20 лет что надо было? Джинсы, жевачку, порнуху и свободу ездить в Париж, чтобы купить еще джинсы, еще жевачку и посмотреть еще порнуху. «Об-ла-ди, об-ла-да» такое, как у Маккартни! Чтобы всем хорошим было хорошо, а всем плохим — плохо. Хороших и плохих, естественно, назначаем мы сами. И что? Все это есть! Бомжи ходят в джинсах, порнуху крутят чуть ли не в детских садах... На Мон-мартре по-русски говорят все!

Сережа. А дальше?

Леша. А дальше, мой однопартник, выяснилось другое: жизнь стала адской. То ли мы неправильно хотели, то ли сделали совсем не то... А что мы просто были идиотами и нас развели как лохов — признаться страшно! Потому что тогда получается — вся жизнь слону под хвост...

Сергей. Как интересно! Сначала говоришь, что нас готовили с детства к правильной жизни, потом заявляешь, что советскую власть ты ненавижу и уничтожил...

Леша. В этом и есть трагедия нашего поколения. Реально готовясь с детства жить честно и справедливо — это не пафос, не дурь, на это была заточена советская система! — мы одновременно мечтали о бабках, бабах, сладкой жизни и плевали во власть, гадили ей, как могли...

Сергей. Обо всех не говори.

Леша. Да ты сам такой же — может, чуть меньше... А мне со школы хотелось денег! Я тогда торговал джинсами, пластинками и прочим импортным фуфлом, за лишнюю копейку удавить мог. И при этом я оставался добрым, чистым и переживающим от всякой несправедливости советским ребенком...

Сереза. Что тебя так понесло?

Леша (наливая водки в рюмку). Как такое возможно? Запросто. (Выпивает.) Только потом от таких завихрений человек либо уходит в стакан, в наркоту, либо в баб. Или становится вонючим куском кала с таблицей курса валют на лбу. Я выбрал первое. Вроде.

Сереза. Политинформацию закончил?

Леша (наливая еще рюмку). Нет еще. Я тут понял, знаешь, что самое главное мы получили от этой гребаной демократии — не свободу выбора, не массу возможностей, даже не бабки... Страх! Этот новый мир после 1991 года принес страх.

Сергей. Хватит ныть.

Леша. Именно страх. Мы стали панически бояться всего: остаться без денег, не заплатить кредиты, потерять квартиру. (Выпивает.) Мы вздрагиваем от страха при падении курса доллара, рубля, бразильского реала, аргентинского танго!

Сереза. Эк тебя торкнуло!

Леша. Боимся, что жена отсудит все заначки, поэтому годами живем с нелюбимым человеком. Боимся жулика-чиновника, который поставит галочку не там, и все ухнет в тартарары. Боимся старости, смены власти, шипованной резины, решений Федеральной резервной системы США, беременности шлюхи...

Сереза. Ты мне скажи, жениться мне или ну его на фиг?

Леша. Ты тоже боишься всего. Хотя ты идеалистом был и идиотом помрешь. Женщины, даже самые лучшие, совершенно другие существа. Любовь женщины и любовь мужчины — это вообще разные вещи. Мужчина сначала любит, а потом оценивает. А женщина сначала оценивает, потом любит. А с женской точки зрения оценивать в тебе нечего, кроме квартиры.

Сергей. Ясно. И как быть?

Леша. Сам думай. В нашем возрасте можно жениться, только если тебя любят, а ты можешь терпеть проживание с этим человеком. Есть, наверное, и другие варианты. Кстати, у тебя же была барышня приличная, ты как-то знакомил, лет десять назад. Лена?

Сергей. Да. Ленка.

Леша. И где она сейчас?

Сергей. Давно не общались. Вроде замужем, сын-школьник, живет в Подмоскovie где-то.

Леша. Вот она тебя любила! Это я как бабовед скажу. А ты лох. И я тоже — лох. Но в других эфирных мирах.

Картина вторая

Квартира Сергея, которая находится в этом же доме над кафе. Вика и ее подруга Настя одеваются, собираясь выходить.

Вика (*стоя перед зеркалом*). Нужен закон. Указ! Запретить смотреться в зеркало после... двадцати пяти! Встроить туда идентификатор рожи, он определяет и током — шмяк! Чтобы запомнила, дура, — не смотришь!

Настя. Да класс, че ты, Вика, голову морочишь?

Вика. Да что-то не идеально все...

Настя. Это мужик твой не идеален! Кто он вообще? Ты королева, это ясно. А он?

Вика. Да он нормальный в принципе...

Настя. Нормальный? Ты что, упала? У тебя должен быть король! Принц! Магнат! Супермагнат и суперпринц! У тебя же был грузин. Где он?

Вика. Ну вот еще... Что в Нико хорошего? Так, только напор. А потом, все-таки национальность...

Настя. Национальность? Ты совсем рехнулась, что ли? Мужик бывает только платежеспособной национальности и неплатежеспособной. Вот твой Сережа из «не».

Вика. Да... Это проблема... Зато Москва. И дом на Рублевке куплю. Эту халабуду продам и куплю.

Настя. Ну хоть что-то... А так, подруга, я прям волнуюсь за тебя. Какой-то твой Сережа покоцанный. Позитива в нем мало!

Вика. Да, с позитивом у него так себе.

Настя. Ничего, потом лучше найдем. Главное — с базой определиться!

Вика. Настя, я еще за Сергея не вышла, ты мне уже следующего ищешь! А может, у меня любовь?

Настя. Ха-ха.

Вика. Что смешного? Я что, не могу полюбить? Просто так?

Настя. Нет.

Вика. Вот ведь! Свадьба на носу, а ты хреновину несешь! Что, не выходить за него?

Настя. Еще как выходить! И молить Вселенную, чтобы он не соскочил. Кому ты нужна, любимая подруга, со своими понтами без берегов и пятилетним ребенком? А тут перспектива с хатой на Рублевке!

Вика. Как была ты, Настя, сучкой, так и осталась...

Настя. Это я сучка? Да я котик Барсик по сравнению с тобой!

Вика. И это говорит лучшая подруга в день помолвки! Вот ведь!

Настя. Я берегу твою психику. Еще про негра не напоминаю...

Вика. Он был мулат!





Настя. Ну да. Черный, как чугун. Главный трахаль Минска.

Вика. Заткнись! Ты же знаешь, это была случайность...

Настя: Знаю, знаю. И с сербом тем пузатым — случайность, и с этим колхозным бизнесменом... Чем он торговал, сеном, что ли, забыла уже...

Вика. Я не гулящая!

Настя. Прогуливающаяся! А кто стихи писал этому сену, когда он тебя на Мальдивы не повез? *(Издавательски цитирует.)* «По швам расходится рубашка, пока ее дерут коты, — когда дерут так душу люди, по швам расходишься и ты!»

Пауза.

Вика. Может, рассказать твоему мужу, откуда у него любимый сын Васенька взялся?

Настя. Ой, все!

Пауза.

Вика. Может, все-таки сделать каре?

Настя. И в блонд?

Вика. В хренонд! Я чего-то очкую! Правда, волнуюсь. Первый раз так...

Настя. Всё венки и суета, подруга, прорвемся! Идем вниз твоего окучивать? Он один?

Вика. С другом.

Настя. Не проблема! Всех соблазним и оприходуем. Мы девушки четкие!

Вика и Настя выходят.

Картина третья

Кафе. За накрытым столиком сидят Сережа и Леша, пьют водку.

Сережа. Что-то я боюсь... Предчувствие какое-то... Странное.

Леша. Предчувствие у всех... Что рухнет все скоро... К дребеням! Мир деградирует. Мы деградируем. Что нам приказывает в данном случае невидимая рука рынка?

Сережа. Что?

Леша. Вкладываться в деградацию. Проиметь все! И получить от этого персональный гешефтик.

Сережа. Ты все о бабках!

Леша. А о чем еще говорить сейчас? О твоей дури? Что ты сам себе на старости лет нашел геморрой? Ты думаешь, твоя барышня — «Гринпис»? Армия Спасения?



Сережа. Ты из меня постоянно делаешь какого-то младенца, вроде я и не жил...

Леша. Не жил. Пока я все девяностые с бандитами корячился, пока я все нулевые власти задницу лизал, чтоб копейку заработать, ты спокойно пил водку в своих писательских и журналистских борделях.

Сережа. Злой ты.

Входят Вика и Настя.

Леша. Но справедливый... *(Увидев входящих девушек.)* Это, что ли, невеста? Какая из двух?

Сережа. Угадай.

Леша. Если бы появились пингвин с орангутангом, я бы еще определил. А так...

Сережа, шикнув на Лешу, встает, обнимает подошедшую Вику, целует ее.

Вика. Где мои лилии?

Сережа. Сейчас! *(Выходит.)*

Леша *(вставая)*. Давайте знакомиться, барышни. Я — Алексей, старинный друг Сережи.

Вика. Вика.

Настя. А я Настя, тоже давняя ее подруга.

Леша. Кофе, чай, водки?

Настя. Мы девушки строгих правил. Чай не пьем. Да, Вик?

Вика. А мы уже начали?

Леша. Да, начали, начали! Жизнь раскрывает свои объятия! Ваша красота, Виктория, пьянит меня! Почему вы выбрали не меня?

Входит Сережа с букетом белых лилий.

Сережа. Вика, сегодня наш день!

Вика. Спасибо...

У Сережи звонит мобильник.

Сережа *(по телефону)*. Да. Пусть сюда, в кафе, заходит. Я встречу. *(Убирает телефон.)* Риелторша звонит, сейчас покупатель сюда зайдет. Быстро покажу квартиру — и все.

Леша. Ну что, барышни, начнем танцы? Так что, просечку или сразу водки? Все-таки?

Вика. Я — просекко.

Настя. А я чуть-чуть водки. Была не была!

Леша. Настя, ну класс! Наш человек! Сразу видно! *(Наливает всем.)*

Вика (*кокетливо*). Сереж, положи мне на телефон, а то я с мамой много говорила.

Сережа кивает, Леша чуть заметно морщится.

Леша. Ну что, барышни и мужчина? Пора поднять бокалы за твою прекрасную невесту! Я знаю этого гражданина столько лет, что самому страшно... Вика, люби его и цени! Он хороший, в принципе!

Вика. Да он суперский!

Настя. Чудесный! И невеста — сказка!

Леша. Да все мы сказки... В смысле — ура!

Вика. Сережа, что риелтор говорит? Есть достойные варианты?

Сережа. Есть. Сейчас придет первый желающий. Точнее, первая. Какая-то дама заинтересовалась. У нее дом в Домодедове.

Настя. Домодедово — это Рублевка?

Леша. Нет. Но тоже нормальный район! И коммуникации приличные. Аэропорт рядом.

Настя. Не... Это нам не подходит. Надо, чтобы на Рублевке. Правда, Вик?

Вика. Да. Надо, чтобы круто.

Леша. Поверьте, барышни, Рублевка давно уже дыра. Там на головах сидят. Народу — не продохнешь. Сам рядом живу.

Настя. Вот так всегда. Сами живете, а нам не даете!

Леша. Дадим, дадим! Вот он (*кивает на Сережу*) даст!

Сережа. Честно говоря, я не рвусь в Подмосковьё. Я городской. Совсем городской.

Вика. Опять?

Сережа. Да я не против... За городом тоже люди живут.

Настя. Что значит «люди»? Вика — такая королева! А ты — «люди»!

Леша. Да не переживайте, все будет отлично! Сережа так долго ждал именно своей женщины, именно единственной и неповторимой, только его... И вот, наконец, дверь в счастье распахнулась, и он готов шагнуть...

Входит Лена. У нее в руках бумажка и телефон, она набирает номер, оглядывает зал, ищет кого-то. Взгляд ее упирается в Сережу. У Сережи звонит телефон.

Лена. Ты?

Сережа. Ленка?

Лена. Это ты — Сергей Александрович с квартирой на Бронной?

Сережа кивает.



Акт второй

Картина первая

Сереза и Лена в квартире Серези, которая расположена над кафе.

Сереза. Интересно все происходит...

Лена. Что происходит?

Сереза. Не представлял, что мы встретимся так.

Лена. Я тоже. Ты там внизу гостей бросил.

Сереза. Ничего...

Лена. У вас праздник?

Сереза. Ну как... Типа помолвка, что ли... Жениться собрался, старый дурак.

Лена. Интересно... Значит, я не вовремя.

Сереза. Может, как раз и вовремя.

Лена. На какой женишься? На длинной или той, у которой фиги во всех карманах?

Сереза. Быстро ты их раскидала... На высокой. Вика.

Лена. Так и думала.

Сереза. Что ты думала?

Лена. Неважно. Значит, ты теперь здесь живешь?

Сереза. Нет, скажи, что ты думала!

Лена. Давно здесь? Хотя... ты тут явно не живешь. Чья это квартира?

Сереза. Не хочешь отвечать... Ладно. Квартира тетушки, Анны Васильевны. Померла, оставила мне.

Лена. Ясно. А продаешь зачем?

Сереза. Так вышло. Долго объяснять.

Лена. Невеста захотела.

Сереза. Я сам хочу.

Лена. Нет. Не хочешь. Ты всегда хотел жить в центре. Это твой воздух, твоя мечта.

Сереза. Слушай, перестань! Риелторша сказала, что ты продаешь дом в Домодедове. А почему? Ты ведь всегда хотела жить в своем доме.

Лена. Так вышло.

Сереза. И у меня так вышло.

Лена. Не хочешь говорить...

Сереза. Не о том мы...

Лена. А о чем надо?

Сереза. Не знаю. Как ты жила эти годы?

Лена. По-разному. А ты?

Сереза. И я по-разному. Сколько лет прошло? Десять?

Лена. Двенадцать. Почти.

Сереза. Вроде как вчера... Банальность ляпнул.



Лена. Банальности — это и есть жизнь. Только понимаешь это поздно.

Сереза. Знаешь, тогда, двенадцать лет назад, у нас бы все равно не получилось ничего хорошего. Я много пил тогда, намучилась бы со мной.

Лена. Не знаю, что ответить.

Сереза. Да и не надо. Сейчас я лучше, чем тогда.

Лена. Ты не изменился. И Леша здесь. Надо же...

Сереза. Ты тоже. Ты его помнишь? Не о том говорим, не о том!

Лена. По-другому и не бывает. Лешу прекрасно помню. Сереза, мы уже прожили жизнь друг без друга.

Сереза. Нет. Еще не прожили. И потом, это неправда. Я всегда думал о тебе.

Лена. Думать мало, Сереза. Почему отпустил?

Сереза. А как ты психанула тогда, в Пицунде? Когда я приехал... Я же не знал ни адреса, ни времени, ничего. Взял и сорвался в никуда. И все равно нашел тебя! А ты психанула. А потом исчезла.

Лена. Сереза, я женщина. Мне природой предписано психовать. А ты мужчина, должен был настоять на своем. А ты всегда плюшевой мямлей был!

Сереза. А сейчас на чем я должен настоять? Бросить все — Вику, свадьбу, твоего мужа, квартиру, дом — и быть вместе? Думаешь, просто?

Лена. Жизнь и проста, и не проста. Но изменить уже вряд ли что можно. Мы уже слишком взрослые. А взрослые люди прагматичны. Нас сейчас сближает лишь прогрессирующий дебилизм мира вокруг. И всё.

Сереза. Значит, ты говоришь мне «нет»?

Лена. А ты ничего и не предлагал. Но все равно — «нет».

Сереза. Почему?

Лена. Ты как это представляешь? У меня семья, Коля во втором классе. Муж. Знаешь, сколько мне пришлось унижаться, чтобы сохранить семью? У тебя фантазии не хватит. Чего я терпела с этим заслушанным артистом... С его бесконечными девками и гастролями. Вытерпела. И теперь опять?

Сереза. В одном ты точно права: мы не отдельно прожили эти двенадцать лет... Мы их прожили вместе. Просто не видя друг друга... Не было дня, когда бы я о тебе не думал, не разговаривал с тобой.

Лена. Легко ты что-то от невесты отказываешься... Не любишь? Зачем женишься?

Сереза. Я к Вике хорошо отношусь. Но...

Лена. Вот именно, что «но». У меня таких «но» — не сосчитаешь.

Сереза. Значит, все остается как было, что ли?

Лена. Значит.

Сереза. Квартиру брать будешь? Кстати, почему все-таки дом продаешь?



Лена. По кочану. Буду.

Сережа. Ну смотри...

Лена. А помнишь, в Пицунде ко мне кадрился пузатый, как арбуз, абхаз-милиционер?

Сережа (*пародируя южный акцент*). «В Трабзон еду скоро. За “Лексусом”. Почти новым. Поехали, все будет!» (*Нормальным тоном.*)
Что отказалась?

Лена. Дура была.

Картина вторая

Кафе. Леша, Вика, Настя сидят за столиком, выпивают. Леша уже изрядно пьян. Вика и Настя напряжены, хотя стараются не подавать вида. Смеются, пьют просекко.

Настя. Что-то жених наш задерживается...

Леша. Допустим, он еще не жених, а так — проекция жениха...

Вика. В смысле? Какая еще проекция?!

Леша. Да это я так, фигурально.

Настя. И дама какая-то неприятная. Они знакомы, что ли?

Леша. С Ленкой? Еще бы... У них такой роман был!

Вика. Та-а-ак... А как она сюда попала?

Леша. Москва — гадюшник маленький... Мимо проходила!

Вика. В смысле?

Леша. Как, как... Продает Ленка свой дом, — уж не знаю, откуда он, — хочет купить квартиру. Ну и совпало так. Бывает.

Настя. Что значит «бывает»? Это кошмар! Вот чем они там сейчас занимаются?

Леша. Всем!.. Да откуда я знаю?

Настя. Вика, немедленно иди наверх, выясни, что за дела!

Вика. Никуда я не пойду! Что ж мне так не везет?!

Леша. Что паникуете, девки? Они лет десять не виделись. Чего дергаться-то?..

Настя. Да хрень хреновая! Вика столько пережила, стольким пожертвовала ради всего этого, а тут — здарсьте! Сваливается какая-то облезлая штучка и гребет под себя! Не дам!

Леша. Ты-то здесь при чем?

Настя. Неважно. Я за справедливость.

Леша. Зря вы нервотрепетесь... Мало ли что было с мужиком десять лет назад — все уже травой поросло, водой смыло...

Настя. Все беды от баб. Даже у баб!

Леша. Давайте, барышни, лучше треснем! (*Наливает всем, поднимает рюмку.*) Ну... За нашу и вашу! И нашим и вашим!

Входят Сережа и Лена.

Лена. Здравствуй, Леш...

Леша. Здравствуй...

Лена. Как дела?

Леша. Да нормально.

Лена. Ну и славно. (*Сергею.*) Ну, знакомь с невестой. Хотя я уже поняла... (*Вике.*) Здравствуй, я Лена, старинный друг Сережи.

Вика. Добрый день.

Настя. Привет.

Вика. Сережа, мы не будем покупать дом в Домодедове. И продавать ей квартиру тоже не будем.

Лена. Барышня, я тебе не конкурентка.

Вика. У меня нет и не может быть конкуренток. А вы бы шли дальше! На хутор бабочек ловить.

Настя. Нет, дама, позвольте! Ваше ку-ку уже пролетело! И не суй свой хабалистый нос не в свое дело! Мы в Минске простые, как кардан от МАЗа, — тресну, и вылетишь наперед своего свиста!

Вика. Да тихо ты! Сама справлюсь!

Лена. Девочка, все у тебя будет хорошо.

Сережа. Так... Что-то мы не о том... Лена, ты будешь покупать квартиру?

Лена. Сейчас уже не знаю.

Вика. Не будет она покупать квартиру!

Сережа. Вика, стоп! Дай мне самому разобраться!

Лена. В чем? Все и так понятно.

Сережа. Нет, не понятно! (*Лене.*) Ты бросаешь меня двенадцать лет назад. Исчезаешь. Я все эти годы хожу сам не свой, и тут, когда я наконец решаю устроить свою жизнь, появляешься ты. Зачем?

Лена. Давай по порядку: я случайно попала сюда.

Сережа. Честно говоря, не верю.

Вика. Я тоже.

Лена. Придется поверить.

Сережа. Случайностей нет. Вообще! В каждом чихе есть смысл.

Лена. Возможно. Но, повторяю, я здесь случайно. Объявление, поиск, риелтор и т. д.

Леша. Давайте выпьем!

Лена. Наливай. Тебе-то, Леша, точно надо выпить. А то упадешь, что тебе скажу...

Леша. Давай-давай! Люблю всякие тайны и неожиданности!

Лена. Знаешь, Сереж, почему я исчезла двенадцать лет назад? Все просто. Я знала прекрасно, что ты меня любил, и замуж собиралась за тебя. Уже точно. Но тут появился Леша.

Сережа. Какой Леша?



Лена. Вот этот. Который водку жрет у тебя за столом.

Сережа. И что?

Лена. И ничего. Переспала с ним. Непонятно зачем. Потом еще раз. И забеременела. Леше все это на фиг не нужно было, у него жена в наличии уже была. Идти за тебя уже было по-человечески стыдно. Полгода куклой на чайнике сидела, в потолок смотрела. А потом... За мной давно ухаживал один артист, Антон. Короче, за него и вышла замуж.

Вика. Все как про нас...

Настя. Да уж...

Лена. Призналась потом, что ребенок не его. Простил. Поэтому я с ним и вожусь столько лет, с его гулянками, поклонницами и прочей киношной шушерой. Сейчас решила домодедовский дом продать, он случайно у нас появился: взяли недострой, продали старую квартиру... В общем, устала я сидеть одна в глуши, хочу в Москву, в центр, тут все родное, свое.

Сережа. Одна?

Лена. Да Антон дома почти не бывает — съемки, гастролы и прочая антреприза... Мы и не живем практически вместе.

Сережа. А что же ты мне тогда не рассказала?

Лена. Стыдно.

Сережа. А Антону — не стыдно?

Лена. Стыдно, но не так. Я же тебя любила, а не его. К нему просто хорошо относилась.

Сережа. Леша, а ты-то что, пес, наделал?

Леша. Да я уж и не помню толком! Ну перепихнулись — с кем не бывает? А про ребенка я вообще в первый раз услышал! Лен, точно мой?

Лена. Леша, я все-таки не шлюха была. Голова слегка с тобой закружилась, и все.

Леша. Да... Какой-то умный человек сказал: в жизни два периода — накопление приключений и воспоминания о приключениях. Я бы сказал точнее — разгребание прошлых приключений...

Сережа. Что же ты мне не сказала?.. Жизнь бы моя совсем другим путем пошла...

Лена. Да что говорить, дело прошлое. Все мы хотели за счастьем с заднего хода зайти... А, оказывается, так не бывает.

Леша. Ладно, ему — кое-как понятно... А мне-то что не сказала? Как зовут?

Лена. Леш, ну а зачем? Чтобы тянуть с тебя деньги? Я гордая. Справилась сама. Хотя очень трудно было. Николай.

Сережа. Что-то голова кругом...

Вика. Сереж, ты ее любишь до сих пор? Можешь не отвечать. И так ясно... Господи, а как же я?

Лена. Да повторяю! Не конкурентка я тебе. Ничего менять не хочу. Хотя Сережа самый дорогой для меня человек был. И будет...

Вика. Знаешь, сколько я мечтала о таком человеке, как Сережа? Меня же тоже бросали, я бросала, не приведи пройти, через что я прошла! Все было... Не сдалась! Мечтала о человеке с большой буквы. И вот он появился. А тут — ты.

Лена. Что я?

Вика. Нечестно это все. Думаешь, меня эта квартира-дом-Москва прельщает? Нет. Семью хочу нормальную. Просто человека рядом. А все эти цацки, деньги — чепуха, понимаешь? Банально хочу у себя дома занавески вешать! Это много?

Лена. Занавески, девочка, надо еще и в правильном месте вешать. Вот я обвешалась — и что?

Леша. Надо срочно выпить. Плохо соображаю. У меня сын... *(Берет бутылку.)* Кому?

Настя. Всем.

Леша. Странно все это... Я — и вдруг отец. Очередной раз! Помогу, конечно. Сколько ему? Да понятно, около двенадцати... Помогу! Я ж не знал... Странно другое... Я обеспеченный, нормальный мужчина. Всё есть! Но ведь не любит же никто...

Лена. Жалко вас всех, мужиков.

Леша. А реально — не любят... Ни жена, первая-вторая-третья, да и дети тоже не очень. Твой... наш Коля — четвертый мой, получается. Две дочки и теперь уже два сына. Но не в этом факт. Сережа, по сути, бессмысленный и нищий — а любят его! Обе в любви объясняются. Почему?

Вика. Он добрый.

Лена. Сам думай. Просто скажу: взрослый мужчина от мужчины-ребенка отличается только тем, что во взрослой жизни он использует женщин осознанно.

Леша. Это ты к чему?

Лена. К дождю и переменной облачности.

Сережа. Что-то я совсем... Раз в жизни собрался жениться...

Лена. Значит, на мне тогда ты не собирался?

Сережа. Лен, здесь другое...

Вика. Ты только что говорила, что не конкурентка. Куда лезешь-то?

Настя. Ишь! Вроде она одна такая вся из себя заблудшая! А другие так — прохаживались по жизни и веерочком обмахивались! Если хочешь знать, у меня еще круче, отец моего Васеньки вообще сидит! И что будет, когда выйдет, ума не приложу. У меня же семья. И муж не знает ничего.

Сережа. Ну вы, бабы, даете...

Настя, Вика, Лена *(почти в один голос)*. Мы даем?

Вика. Это вы, козлы, наследите, а нам всю жизнь убираться!

Леша. Как интересно... Ну и послали бы нас вон, делов-то на стакан пепси!

Лена. Ты бы, козлик, молчал вообще. Тебе бы одним глазом увидеть, какие пытки я тебе изобретала. В свое время. Окочурился бы от мысли одной.

Вика. Ты бы помолчал, Леша.

Настя. Обнагтели они, козлы.

Сереза. Да... Помолвка у меня замечательная. Или уже не помолвка?

Лена. Помолвка. Только вы, мужики, всегда боитесь решать. Встать и сказать. Всё какими-то ужиками живете. Как бабы.

Вика. Да уж, помолвка... У меня была одна. Вот до сих пор очухаться не могу... Как любила его! Цветы каждый день, кофе в постель, прислуга в шикарной квартире шуршит, ничего делать не надо — богатый...

Настя. Скотина он порядочная!

Вика. А как забеременела, положили в больницу — сразу по бабам пошел. Еще и домой притащил — я вернулась, а он с лярвой какой-то... Врезала ему от души, аж упал, — и ушла. Беременная.

Сереза. Ты мне не говорила...

Вика. А зачем тебе мои тараканы? Ты думал, я девственницей до 28 лет прожила?

Лена. Ах, как романтично! Сама пытается ребенка на хаяву Серезе же всучить, а на меня катит!

Вика. Да иди ты!

Леша. Так я сына признаю, если что! Но вы, бабы, странные существа... Вот у каждой по ребенку. А смысл? Как вам просто — родила и вроде как миссию выполнила. И вроде как подвиг совершила. Реализовалась! А нам, чтобы реализоваться, надо корячиться, пахать, жилы из себя вытягивать!

Лена. Леш, не надо. У Коли давным-давно другой отец. И не лезь вообще.

Вика. Просто? Да заткнулся бы! А как выживать на 40 долларов пособия по уходу за ребенком?! В месяц! Как унижаться, искать на жизнь и не стать шлюхой конченной при этом?!

Сереза. Вот у меня еще и сын появился... В смысле, кто он мне? Если женюсь... Как же ты эти годы всё скрывать умудрялась?

Вика. Что значит «если»? Малахольный какой-то! Ты уже передумал? Господи, за что мне это?

Сереза. Да нет... Зачем темнить-то было?

Вика. Затем. Знаю уж, как мужики реагируют. *(Идет к двери.)*
Сереза, мне надо с тобой поговорить!

Сереза удивленно смотрит, встает из-за стола,
выходит из кафе вместе с Викой.

Вика. Сколько это будет продолжаться?

Сереза. Что именно?



Вика. Цирк с твоей бывшей!

Сереза. Она не бывшая...

Вика. Ах ты так заговорил?

Сереза. Ты не поняла. Это было очень давно. Все уже стерлось. Не обращай внимания.

Вика. Взорву все. Или сожгу. Вместе с тобой. К едрене фене! Изувечу всех! Я жизнь положила, чтобы вырваться из своего колхозного болота, а он — «не бывшая»!

Сереза. Вика! Кончай истерику! Все хорошо будет!

Вика. Повторяю, к едрене фене!

Сереза толкает Вику обратно в кафе, следом заходит сам.

Вика. Серез, прости. Я как спичка...

Лена. Похоже, я здесь лишняя. Мне пора. Насчет квартиры — она хорошая, и место, о котором мы... извини, я мечтала. Но теперь уже...

Леша. Странно все как-то. Встретились три несчастные бабы и два несчастных мужика. Все мучительно хотят счастья. Но в жизни сделали всё, чтобы его не было. Максимум! Так наворочали, что не разгребешь.

Настя. Ты-то чего несчастный? Как я понимаю, все есть.

Леша. Да. Денег хватает. Вы вот думаете, что Леша такая сволочь, такой козел, наивных девочек в койку тянет и бросает? А я же тоже счастья домашнего хочу! Я же всех моих баб, даже мимолетных, стараюсь обеспечить как-то. Потому и пахал как вол! Не разгибаясь... Притом что законная жена жрет, как лошадь.

Сереза. В смысле?

Леша. Лерка пьет. Лечил много раз. И в Австрию возил к профессорам, и в Штаты. Без толку.

Сереза. Ты не говорил.

Леша. А зачем тебе мои проблемы? Ты полжизни проквасил среди таких же недобогемных идиотов, а теперь пытаешься в последний вагон прыгнуть. А мы жили! Как умели. Иногда... Да, часто очень криво и грязно. Но жили... Своей вины за все, что было, не отрицаю. И в ангелы не лезу. Как ты.

Сереза. Куда я лезу?

Леша. Нет, ты послушай! Ты же всегда был такой положительный — в школе, в институте. А копнуть... У тебя же проблем в жизни не было. Никаких! От слова «вообще»! Ты ни о ком не заботился. Никого не тянул. Не вынимал близких людей из петли, куда их бесовщина сунула. Тебе всегда легко было.

Сереза. Ты что, Леш?!

Настя. Так и думала! Он ничтожество!

Вика. Он хороший! Лучший! Вы все просто ему завидуете!

Леша. Да знаю, что говорю. Помню, выпивали у меня, давно еще, на «Спортивной», — утром просыпаемся, я с кривой рожей ползу на ра-

боту... А ты мне — Леш, дай денег. Я спрашиваю: на пиво? Ты в ответ: нет, на Патриарших дают удочки в аренду, посижу в теньке, рыбу половлю. Такая злость взяла! Я на работу корячиться, а он будет в центре города груши околачивать и рыбку ловить! На всю жизнь запомнил.

Сережа. А не думал, что пьянка и маразм были для меня спасением? Чтобы не видеть кошмар девяностых. Иначе бы я сошел с ума, глядя, как все рушится и летит к чертям.

Вика. Что делать-то будем?

Леша. Я не знаю. Ленка его любит до сих пор, и он ее любит. У них общего — почти все. Они думают в одну сторону. Плюс писательско-интеллектуальные заморочки. Понимают с полуслова, интеллигенция хренова.

Лена. Я ничего менять не буду. Наверное.

Вика. Сережа?

Леша. А жениться ему лучше на тебе, Вика. У тебя есть характер. Хотя разница в образовании и все такое... Все равно даст знать это. И как обернется... Но решать только ему. А решать сам он не способен. Не научился. Всю жизнь как в Диснейленде.

Сережа. Не надо грязи. Столько... Я решил. Жалко вас, баб, очень.

Вика. Что? Сережа?

Лена. Что? Ну? Решись хоть раз на что-то!

Леша. Что же ты, жизнь, понаделала с нами, бывшими добрыми советскими детьми... Зачем ты так устроена? Или мы сами тебя так устраиваем? Как ты пролетела? Ведь мы и половины не помним, что с нами было. Так, очертания... Мареву. После девяностых — сразу десятые. Но не можем же мы быть такими дебилами, чтобы все время с маниакальным упорством пихать себя в помойку? Или можем? Ведь все хорошие ребята. Да, наломали дровищ в жизни... Как и все вокруг. Но — очнись, строй человеческую жизнь, чтобы хоть немного пожить нормально! А как? И ведь смертельно хочется счастья. Как я сказал — смертельно... Что изменить-то? Себя — поздно. Мир — глупо. Или не поздно и не глупо? Но как, как это сделать?

Сережа наливает рюмку, выпивает, встает и идет к двери. Все напряженно смотрят ему вслед. Перед дверью Сережа оборачивается.

Сережа. Об-ла-ди, об-ла-да, лайф гоез он бра, ла-ла, лайф гоез он...

Сережа стоит в дверях и манит рукой. Не понимая, кого из них он зовет, Вика и Лена привстают со стульев.

З а н а в е с .

Виктор КОВРИЖНЫХ

НАД КОЛХОЗНОЙ ДЕРЖАВОЙ

* * *

Заклубятся былого туманы
На закате вечерних огней...
И приходят из детства жиганы
Посидеть на скамейке моей.

Коля-Гвоздик, Кадэга, Кудесник,
Миша-Нарыш и Паша-Пахом...
Имена написали, как песни,
На скамье перочинным ножом.

Даль бродяжья и свет серебристый,
Не высок у мечты потолок:
В комбайнеры пойти, в трактористы,
В колесисты окрестных дорог.

Все срослось... По отцовскому следу
Уходили в колхозную Русь.
Только я один в город уеду.
Слишком поздно обратно вернусь.

Отцвели трудовые знамена,
Мерседесы фарцовой орды...
Безнадегой да водкой паленой
Расплатились за ваши труды.

Нет вас больше... Обрушены сенцы,
Заслонила дворы лебеда...
Тихо память вошла в мое сердце
И осталась в нем жить навсегда.



Вновь проступят в задумчивый вечер
Ваши лица на фоне огней —
И горят, словно тихие свечи,
Над колхозной державой моей.

Капуста

Зарод спрессованного хруста
В зеленых венчиках листов.
Какой бы выросла капуста,
Когда б весь год без холодов?

Я полагаю, с купол храма,
Иль с холм, что дремлет у реки.
И кочерыгу б топорами
Весь день рубили мужики.

Чело, спеленатое туго
Судьбой извилин мозговых,
Где разместилась вся округа
С вестями радостей земных.

Торчит вилок крутой и важный,
Как утомленный сибарит
Салонной славою вальяжной,
Рот нарисуй — заговорит.

К столу отменная закуска,
Достоинств прочих и не счесть!
К тому ж рифмуется с искусством —
И даже в этом что-то есть!

Будни мои (Станция Семёнушкино Бачатского угольного разреза)

Буду писать, что хочу, —
Все равно не печатают!
Жизнь монотонно влачу
В Старобачатах.

Звякнет будильник с утра,
Чаю согреют родители.

Мне на работу пора —
Составителем.

Готовлю состав на ветру,
Огни светофоров мигают.
Взяток я не беру
(Их и не предлагают).

Прикажет диспетчер, куда
Вагоны поставить.
Служебное счастье труда,
Судьба холостая.

Погасли мои соловьи
В технической прозе,
Где даже Пегасы мои
Породу вывозят.

* * *

Подберу перо для строгой
Песни русских храбрецов.
«Эх, моей пошел дорогой!» —
Скажет Юрий Кузнецов.

Подберу перо попроще
И отправлюсь в край родной,
Где звенит над светлой рощей
Колокольчиками зной.

Перелески да ложбинки
От Майорова мыска.
Ремешок моей тропинки
Сцеплен пряжкой мостка.

От Чухтинского болота,
От деревни Токовой
Птицы чудного полета
Закружат над головой.

Расплескалась звонким светом
Даль на отчем рубеже!..
Впрочем, что кричать об этом?
Вдоволь сказано уже.



Радость с пафосом мешая,
Повторю банальность я:
Так вот Родина большая
Начинается моя.

Не в столицах, не во власти,
Только здесь я жить хочу,
Где обыденное счастье
По судьбе и по плечу.

Притча о летающем заборе

Желание славы прошло.
Окончились споры.
Налево летят НЛО,
направо — заборы.

Поправ притяженья закон,
летят себе вольно!
И каркает ворон вдогон
с креста колокольни.

— Нет смысла и логики тут!
Запомнить пора бы!..
Вот умные книги несут
и тычут в параграф.

— Но этот забор полет, —
не медлю с ответом, —
логичнее, чем пулемет
и блуд в Интернете.

Лишь волей своей они там
прячут над простором
без штурманских карт и программ,
шасси и моторов...

Но рывкнуло Правило: «Вздор!
Забор не летает!..»
Упал и разбился забор...
Лишь воронов кружится стая.

Автобиография

Трудился, жил... Неплохо вроде.
В законы верил и в мечты.
В литературном огороде
Свои выращивал цветы.

Они с обыденным обличьем,
Без эпатажного вранья,
К упрекам вашим безразличны,
Просты, как родина моя.

Такая альфа и омега.
В своих цветах останусь я.
Езжай теперь, судьбы телега,
За хвойным снегом бытия.

Хозяин

Хозяин занят! В хлопотах:
Таскает бревна волоком.
То возится с заплатами,
То драит небо облаком.

Живет в трудах над безднами,
Чужой людским истерикам.
И ангелы любезные
Шныряют подмастерьями.

И чтоб народ жил правильно,
Не докучал вопросами,
То граф Толстой направлен к нам,
То Пушкин с Ломоносовым.



Максим ЗАМШЕВ

**«ТАМ, ГДЕ БЫЛА
КОГДА-ТО ОСТАНОВКА»**

* * *

Теперь нас никто не осудит,
Глотаем Отечества дым.
Несчастные русские люди
За счастьем отправились в Крым.
Вы видели столбики дыма,
Что медленно шли вдоль реки?
Они к нам вернулись из Крыма,
Счастливые, как мотыльки.

* * *

То ли полная луна, то ль пустая,
В небе тусклом не видна злая стая.
Хорошо, что не видна — каждой ночью
Эти птицы от вина злые очень.
Эти птицы пьют вино молодое,
И кричат они одно — что-то злое.
Я былинный богатырь из сказаний,
Предсказал я свой конец под Рязанью.
Злые птицы над страной реют снова,
Черти режутся со мной в подкидного.
То ли полная луна, то ль пустая,
Вы со мной об этом лучше не спорьте,
А кремлевская стена не растает,
Даже если станет кремом на торте.

Не играть богатырям на рояле,
 Не стоять поводырям на развале.
 Сто столиц уже сменила Россия,
 За оранжевым вином нынче сила.
 А кондитер приуныл: все по-русски,
 Торт кремлевский и луна без закуски.

* * *

Полюбить так, чтоб кусать губы,
 Чтоб смотреть на звезды, не разбирая,
 Геликон с небес звучит или туба,
 Я не плачу, но утром вся жизнь сырая,
 Я не плачу, но соль разъедает щеки,
 Не стреляйте в лоб, подходите сбоку,
 Полюбить бы так, чтоб увидеть Бога.
 Закрывая дверь, оставляйте щелку,
 А когда услышишь: «Зачем, брат мой,
 Ты разрушил то, что веками строил?» —
 Говори: «Ахейцы не взяли Трои,
 И Елена сушей идет обратно».
 В мире теперь измерений пять,
 А в четвертом — из наших сомнений свалка.
 Полюбить бы так, чтоб вся жизнь вспять,
 Но она и так вспять... Жалко...

* * *

Мир не рухнет, черт не перекрестится,
 Продает святой Грааль мулат.
 Есть у проституток тоже крестницы,
 Сталин с Троцким в голове жужжат.
 Осень, бесполезна и безжалостна,
 Стариков терзает и старух.
 Пусть змея уже покажет жало нам,
 Сталин с Троцким превратились в мух.
 Месса прозвучит заупокойная,
 Хор церковный перейдет на вой.
 Мухобойку достаю спокойно я,
 Знаменитый в прошлом мухобой.

* * *

В Замоскворечье пусто. Купола
Небесного не различают грома.
И каждая монгольская скула
Здесь чувствует себя как будто дома.
Запутавшийся юноша в углу
Двора смешно грустит о настоящем.
Сухой асфальт, предчувствуя метлу,
Чуть морщится от встречи предстоящей.
У голубя особо ровный лет,
Он прошлым бесконечно не терзаем.
Мы все попали в этот переплет,
Как выбраться, мы до сих пор не знаем.
Давным-давно покинутый мной рай
Я не найду — не та уже сноровка.
Теперь одно осталось — ждать трамвай
Там, где была когда-то остановка.



МАКСИМ ЗАМШЕВ: «ВИЗУАЛЬНОЕ ВЫТЕСНЯЕТ ВЕРБАЛЬНОЕ!»

Максим Адольфович Замшев родился в 1972 г. в Москве. Окончил Музыкальное училище им. Гнесиных и Литературный институт им. А. М. Горького. Автор нескольких книг стихов («Любовь дается людям свыше», «От Патриарших до Арбата») и прозы («Аллегро плюс», «Избранный», «Карт-бланш», «Весна для репортера»). Первый заместитель председателя МГО СП России, заслуженный работник культуры Чеченской Республики, лауреат премии в области литературы и искусства Центрального федерального округа Российской Федерации. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

С 2017 г. — главный редактор «Литературной газеты».

— Два года назад вы возглавили «Литературную газету» — что предстояло сделать?

— Уже больше двух лет... А предстояло делать то же, что и любому вновь пришедшему редактору федерального издания, — обеспечивать его бесперебойный выход. Но был и еще один момент: в «Литгазете» все мои предшественники — сплошь выдающиеся люди, и, конечно, надо думать о том, что я ответственен не только перед читателями, но и перед «великими тенями». В газете невозможно сделать что-то на века — каждый номер выпускается нашей великолепной редакционной командой с напряжением всех сил, но через неделю практически уходит в забвение. Это иногда бывает обидно, но, слава богу, есть электронная версия, где все сохраняется. И, надеюсь, многие наши публикации привлекут читателей даже спустя значительное время.

— Под каким флагом и с каким девизом сейчас плывет корабль «Литгазеты»?

— Главной своей задачей вижу превращение газеты в площадку для отражения всех точек зрения общественной и культурной жизни. Хочу, чтобы лучшие люди страны высказывались на наших страницах по всем волнующим их темам, и, полагаю, на данном этапе это получается. У нас печатались Кургинян и Макаревич, Личутин и Быков. Да, того же Бушина порой заносит, но мы не отказываемся его печатать — просто текст проходит редактуру, вот и все. Хочется возродить культуру небранной общественной дискуссии...

«ЛГ» пишет не только о литературе — на наших страницах освещаются вопросы общественно-политической жизни, мы пишем о кино и театре, сохранил-



ся юмористический «Клуб 12 стульев». Есть мобильная версия номера, газету можно читать с телефона. А выход «Литературки» в соцсети — это уже вишенка на торте! Есть идея создания «ЛГ-ТВ», но это пока сложно и технически, и финансово.

— К примеру, в Самаре я не обнаружил газету в киосках. Как решать эту проблему?

— Тема сложная... Вся система распространения печатной продукции нацелена на извлечение прибыли, поэтому рынок не всегда друг культуры... Решаем эту проблему в каждом отдельном регионе персонально — где-то идут навстречу, где-то нет. Но рост розничных продаж в любом случае у нас есть и носит стабильный характер.

— О каких тиражах мечтается?

— Конечно, чем больше, тем лучше! Но важен еще и качественный состав читательской аудитории, а у нас он даст фору многим. Не люблю, когда кто-то бравирует своими тиражами, потому что низкопробная продукция зачастую имеет больше шансов, такова реальность... У Донцовой, например, большие тиражи, хотя читать это невозможно даже поклонникам жанра.

— Что ждет «Литературную газету» завтра?

— Мы живем в реалиях, когда бал правят не идеологи, а продавцы. В этом почти вся наша, так сказать, идеология — газеты не приносят продавцам быструю прибыль, поэтому им такие издания, как наше, нужны лишь для ассортимента. Они этого и не скрывают... Но мы держимся, ищем новых читателей и новые источники финансирования, работаем над тем, чтобы все, кому интересен наш контент, могли с ним ознакомиться. И газета не просто жива — из всех изданий такого плана она остается несомненным лидером уже многие годы. Кстати, я считаю, что печатный формат газет не умрет никогда, и, несмотря на то что мы, конечно, присутствуем в Интернете для расширения аудитории, Интернет не самоцель. Мы не портал. И не ресурс. Мы — самая старая российская газета. И мы будем всегда. Наш директор по развитию каждый день предлагает сделать посещение сайта газеты платным, но я не могу на это пойти — мы сразу потеряем огромную часть наших читателей. Хотя соглашусь, что бесплатное чтение «ЛГ» губительно для нашего дальнейшего развития — у нас нет спонсоров-олигархов, как у «Комсомольской правды», «Коммерсанта», мы существуем за счет нескольких источников финансирования, включая субсидии и гранты. Необходимо 30 000 000 рублей ежегодно, вот и стараемся их изыскивать...

— Сегодня, по сути, только три федеральных СМИ освещают литературный процесс: «Культура», «Литературная Россия» и «Литературная газета». Чем они отличаются?

— Они отличаются многим, и более того — было бы ужасно, если бы не отличались! У каждого своя аудитория, свои отношения с миром, но это не мешает мне испытывать к ним чувства товарищества, ведь работать на культурологическом поле непросто...



— **Возможна ли интеграция многочисленных писательских союзов? На какой основе?**

— Мне кажется, нужна сильная и связанная с государством ассоциация писательских организаций, которая могла бы стать неким грантораспределителем в интересных писательских проектах.

— **Литературная жизнь в регионах складывается по-разному. Где и за счет чего она бьет ключом, с кого брать пример?**

— О жизни в регионах мне трудно судить, но я знаю, что везде что-то делается, и это очень отраднo. Выходят журналы, книги, реализуются художественные проекты, несмотря на то что власть далеко не всегда оказывает в этом помощь. Литературную жизнь в регионах делают интересной настоящие литературные подвижники. Честь им и хвала!

— **Знакомы ли вы с журналом «Сибирские огни»?**

— Конечно! Это один из старейших литературных журналов России, ему скоро 100 лет, его знают в стране. Периодически захожу на сайт «Сибогней» — это довольно интересный ресурс, и я, в свою очередь, предлагаю размещать анонсы новых номеров «Сибирских огней» на сайте «Литературной газеты». Некоторые региональные журналы перешли под крыло местных властей — и выиграли! К примеру, тираж «Сибирских огней» — 1500 экземпляров, а вот федеральные издания подталкивают к переходу в электронный вид, оплачивать бумажную версию никто не хочет. При этом мало кто задумывается: если мы потеряем книжно-журнальную культуру, то потом ее никогда не восстановим. И это будет катастрофа...

— **Уверены?**

— Я периодически веду литературные семинары, участвую в совещаниях молодых писателей и с горечью констатирую: ребята мало читают. Просишь назвать любимого поэта — называют друг друга! Наступающее невежество в литературной среде — это ужасно. Почему так? В Европе в богатых семьях детям не покупают айфонов, осознав их вредное влияние, а у нас невозможно отобрать у ребенка гаджет — сразу слезы, истерика... Навыки фундаментального чтения из нас выбивают уже много лет, целенаправленно. На литературном фестивале в Новосибирске видел книжный развал «Всё по 100 рублей», но ажиотажа читательского не было. Да в советское время всё смели бы за три минуты! Сегодня даже писатели перестали интересоваться творчеством друг друга. К огромному сожалению...

— **Кого из современных авторов цените?**

— Странный вопрос... Считаю, наша словесность находится на пике, работает много прекрасных писателей разных поколений. Называть имена, пожалуй, не стоит — можно кого-нибудь забыть... В 1991 г. писателям было отказано в госзаказе, и с тех пор текст стал неким товаром. Но одновременно стало ясно, что литература обладает удивительной свободой — отсутствие государственного



пригляда и давления власти привело к обилию хороших текстов. И вступили в силу рыночные законы — какие-то книги продаются хорошо, какие-то остаются незамеченными. Но то, что попадает в короткие списки премий «Ясная поляна», «Большая книга», «Национальный бестселлер» (это 50—60 произведений в год), — безусловно, интересные и качественные тексты.

Лично мне очень нравится Павел Крусанов — считаю, это замечательный писатель. «Калейдоскоп» Сергея Кузнецова — совершенно потрясающая вещь. Нельзя не отметить и Евгения Водолазкина, превратившегося из филолога в прозаика...

— Что бы вы изменили в школьной программе по литературе?

— Понятно, что есть ряд имен, не подлежащих исключению из программы ни при каких обстоятельствах, — Пушкин, Лермонтов, Толстой, Тургенев, Чехов, Есенин. Вообще, считаю, что совершенно неважно, какие авторы будут изучаться в школе! Главное, чтобы словесники прививали школьникам интерес к чтению. Когда учился я, то в школе поэзию Серебряного века, поэзию Цветаевой и Ахматовой упоминали вскользь, но это не мешало нам интересоваться литературой, самостоятельно искать полузапрещенные тексты. Еще один важный момент — раньше каждый текст Айтматова, Распутина, Астафьева был обязателен к прочтению, вызывал бурные споры, а сейчас я не вижу подобного общественного внимания к писателям и чтению. Вся система отечественного образования заточена на другое.

— И что же делать?

— С этим пока ничего не сделаешь. Нужно ждать. Очевидно, что сейчас народ читать не хочет. Можно сетовать на плохое качество литературы, переставшей «влиять на умы», и неразвитую книготорговлю — да, это имеет место быть. Но нельзя не учитывать и то, что люди быстро привыкли получать, если можно так выразиться, короткие знания из Интернета — визуальное агрессивно вытесняет вербальное. Возможно, когда книги запретят, когда их начнут сжигать, появится вдруг интерес к чтению...

— А какое произведение Замшева необходимо включить в курс отечественной литературы?

— Никакое, боже упаси! Современных произведений школьникам не нужно давать много, они должны ознакомиться с теми, что составляют золотой фонд отечественной литературы, а уж после этого, если захотят, прочтут и Замшева, и Басинского, и Водолазкина... И непременно найдут своего автора. Вот один знакомый профессор решил простимулировать интерес сына-подростка к чтению, сказал ему: «Прочтешь “Обломова” — поедешь летом в молодежный лагерь», а потом услышал, как сын по телефону жалуется другу: «Что делаю? Читаю роман Гончарова. Тридцать страниц прочел — про то, как чел лежит...»

— Какой должна быть современная библиотека?

— Сложный вопрос... Понятна тенденция: библиотеки стараются превратить в культурные центры, что, с одной стороны, хорошо — народ стал ходить туда не только за книгами. Я помню время, когда московские библиоте-



ки закрывались в шесть вечера и люди после работы не могли попасть туда... Хорошо, что сейчас не так. Еще помню сотрудников библиотек, считавших, что читатели им мешают, — то книжку не туда положат, то испортят что-то... Слава богу, такое отношение к посетителям кануло в Лету.

Библиотеки — фонды периодики: в толстых литературных журналах печатают качественные тексты, газетные литературные еженедельники следят за литпроцессом — и все это можно прочесть в библиотеке. В стране около 40 000 библиотек — и это только в ведении Минкульта! А есть еще те, что подчиняются Минпросвещения, различным культурным центрам. Но не все выписывают литжурналы, поэтому есть идея предложить президенту нацпроект субсидирования библиотек. Яхина и Водолазкин библиотекам не нужны — люди их и так купят или скачают! Библиотеки должны предлагать литературу, оставшуюся вне рынка.

В советское время много было сделано для просвещения, и сейчас такой работы очень не хватает. К примеру, кто сейчас знает прозаика Константина Воробьева? А ведь это писатель первого ряда, его военная проза просто потрясающей силы. В прошлом году я встречался с министром культуры Белоруссии, рассказал, что лечу в Самару на литфест имени гениального поэта Михаила Анищенко. Министр попросил прислать ему стихи Анищенко — и вскоре их перевели на белорусский! А в России они по-прежнему мало кому известны...

— Какие направления в отечественной литературе — поэзия, проза, драматургия, критика — вам кажутся наиболее содержательными и перспективными?

— Все направления у нас сейчас содержательны, в каждом из них развиваются разные стили, эстетики и даже этики, но проза и поэзия, бесспорно, первичны — в них бьется пульс всей литературы. И я рад быть современником многих нынешних прозаиков и поэтов.

— Что в свое время привело вас в литературу?

— Невозможность жить без того, чтобы творить. Моя музыкальная карьера складывалась вполне успешно, но литература значила больше, поэтому я ушел с первого курса музыкальной академии им. Гнесиных и подал документы в Литинститут. Решил, что жизнь дается один раз, и слишком большая роскошь не рискнуть стать тем, кем ты мечтаешь. Пока не жалею, что поступил именно так. В те годы на меня, кстати, большое впечатление произвела история о том, как Владимир Высоцкий, будучи первокурсником МИСИ, в один прекрасный день вылил целую чернильницу на чертеж и сказал: «Все. Баста!» — и подал документы во всем известную «Щуку» (Театральный институт им. Б. Щукина, в то время — Театральное училище. — *Прим. ред.*). Высоцкого я любил и люблю — возможно, это тоже повлияло... Мужчина имеет право начинать все сначала несколько раз за жизнь. Само по себе ничего не происходит.

— В этом году выходит ваша новая поэтическая книга. То есть стихи пишутся?

— Да. В новом 100-страничном сборнике — стихи 2014—2019 годов. Хорошее стихотворение — это чудо, а чудо не может происходить каждый день...



Для поэта очень важно поймать состояние некоего транса, в котором рождаются стихи, и, если ты его упустил, лучше не маяться, а оставить уже написанные четверостишия где-нибудь в глубине памяти и ждать другого мига, другого подаренного свыше времени для тончайшей эмоциональной концентрации. И вовсе не обязательно это произойдет, когда автор будет сидеть за письменным столом, это может случиться где угодно и в любое время суток. И тогда поэт погружается в себя, внешний мир перестает существовать, остается только застывшая картинка в глазах. Это только в глазах обывателей поэты — чудачки, никчемные люди... Но как счастлив тот, кто знает реальный вес секунды поэтического вдохновения!

— Кого вы считаете своими учителями?

— В Литинституте я учился в семинаре Владимира Фирсова. Обязан ему очень многим. Его советы и наставническую щедрость буду помнить всегда. В годы учебы, как и на многих студентов, на меня оказала влияние интересная и сложная личность тогдашнего ректора — писателя Сергея Есина, много дало общение с Александром Прохановым, Юрием Поляковым. В поэзии питался философскими соками Юрия Кузнецова, чистотой тона Владимира Бояринова, утонченностью Юрия Левитанского, обаянием Евгения Рейна. Одно время очень увлекался невероятной витальной силой поэзии Леонида Губанова, из классиков обожаю Блока и Георгия Иванова. Кому-то покажется этот набор имен гремучей эстетической смесью, но во мне всем им очень уютно и никакого антагонизма, поверьте, нет. Как на прозаика на меня больше повлияла западная проза, в частности блистательные англичане Мартин Эмис, Лоуренс Норфолк, Джулиан Барнс, Джонатан Коу, непревзойденным романистом считаю датчанина Питера Хёга. Думаю, что очень многому прозаик может научиться у Милана Кундеры, особенно его неподражаемому умению создавать сюжет там, где нет никаких внешних признаков сюжета, и тем не менее все развивается, двигается, переходит одно в другое, и эмоции, и мысли, образы. Это иногда завораживает значительно больше, чем самая изысканная фабульная интрига. Однако прямое подражание Кундере очень опасно, поскольку его художественный метод, пройдя сквозь призму отечественного литературного сознания, выстроенного априори на других принципах, может привести к созданию нестройных текстов и утрате целостности формы.

— Литинститутская дружба не ржавеет?

— Дружба вообще не ржавеет, если ты дружишь с людьми тебе близкими. Литинститут для меня — святое место. Поэтому все, кто там делил со мной дни, — на особом счету, хотя жизнь часто жестока и вынуждает общаться с теми, с кем связан общими делами, а не с теми, с кем хотелось бы... В этом драматизме — начало многих великих текстов.

— Как давно открыли в себе прозаика?

— «Открыли в себе» — слишком громкие слова, пусть во мне прозаика открывают читатели. Прозу начал пробовать писать в начале века. Так что давно уже...



— **Четыре книги прозы — это много или мало?**

— Сейчас на выходе пятая. Очень много сил ушло на их написание... Наверное, больше я бы написать не смог. Но у всех свой темп, хотя кто-то вполне может пожуричь меня за малописание. Глупо говорить, что важно качество... Оно важно, конечно, но оправдывать лень тем, что я гений и потому пишу мало, но круто, — слабость. Надо все время работать над словом и собой. Сколько Бог даст для этого дней и сил — никто не знает.

— **Какая эпоха вам интересна как писателю?**

— Двадцатый век. Все, что было до цифровизации.

— **Как складывается ваша жизнь переводчика? Что самое сложное в этой профессии?**

— Я себя переводчиком не считаю, я просто иногда перевожу разную поэзию с подстрочника. Сложно не впасть в отсебятину, совместить сложность с красотой.

— **Такое ощущение, что сейчас пишут, как говорится, не на века. Согласны?**

— Когда я поступал в Литинститут, про Пелевина говорили, что его забудут через два-три года, что постмодернизм несостоятелен. Оказывается, мои коллеги ошибались... Темы и сюжеты в литературе постоянно меняются... Вот я застал еще нестарых ветеранов Великой Отечественной, в обществе долгие годы создавалось стойкое ощущение, что война — это плохо. Но послушайте, кто 15 лет назад думал, что на территории Украины будет война? А теперь мы с этим живем... И растет поколение, для которого война — это просто компьютерная игра...

— **А теперь, если позволите, блиц! Сильнейший русский поэт XX века — это...**

— Александр Блок.

— **Нобелевская премия Улицкой — несбыточная мечта литсообщества?**

— Пути нобелевские неисповедимы.

— **Кто для вас мастер прозы — Шолохов, Трифонов, Искандер, Маканин?**

— Все четверо.

— **Что отмечаете в творчестве лауреатов премии «Лицей»?**

— Преобладание содержания над формой.

— **Смысл писательской деятельности — заработать, самовыразиться или постараться что-то изменить в мире?**

— Третье, однозначно.

— **Кем восхищались в детстве — мушкетерами, Тимуром, Электроником, Мересьевым?**

— Мушкетерами.

— **Почему вас нет в соцсетях? Какую роль играет Интернет в жизни пишущего человека?**

— Это не моя история. Обхожусь без этого. Много других дел и задач.

— **Есть ли хобби у литератора Замшева?**

— Я — болельщик московского «Спартака». Яростный.

— **Можете ли сказать: «У меня счастливая жизнь»?**

— Да вы что? Сколько себя помню, был постоянно гоним...

— **Верите в приметы?**

— Я суеверен до мозга костей!

— **Что вас смешит, а что печалит?**

— Смешит хорошая шутка, а печалит то, что у нас в стране пока очень мало людей читает и ценит хорошую литературу.

— **Максим Замшев — максималист? В чем?**

— Все, что я делаю, — делаю насколько возможно хорошо. Или не берусь вообще.

Беседовал Юрий Татаренко



Новосибирскому государственному краеведческому музею — 100 лет

В 2020 г. Новосибирский государственный краеведческий музей отмечает юбилей — за целый век работы было пережито многое: менялись политические режимы, адреса размещения музея и его экспозиций, названия и концепции работы, но при этом коллектив сумел сделать главное — сформировать богатейшие коллекции, рассказывающие об истории, культуре и природе Сибири.

Сегодня в фондах музея хранится более 280 000 музейных предметов, музей имеет 6 филиалов, 8 постоянных экспозиций, проводит ежегодно более 140 выставок, которые посещает около 300 000 человек.

Мы запускаем юбилейную серию материалов о музее — об удивительных коллекциях, замечательных людях и выставочных проектах, об истории Новосибирской области, отразившейся на судьбах людей и предметов. И конечно, хотим вам напомнить — обязательно приходите в музей, там по-настоящему интересно!

Павел ОРЛОВ

ПИРАТСКИЙ СУНДУК И ДРУГИЕ СОКРОВИЩА МУЗЕЯ

Фонды Новосибирского государственного краеведческого музея — это несколько больших разделов («Археология», «Естественнонаучные коллекции», «Документы», «Искусство» и т. д.), внутри которых в свою очередь имеются отдельные коллекции. Например, блок «Предметы материальной культуры и декоративно-прикладное искусство» разделен на 16 коллекций — по материалам: «Дерево», «Кость», по назначению: «Оружие», «Одежда», по направлению коллекционирования: «Филателия», «Нумизматика»... Коллекция «Изделия из металла» тоже входит в этот блок (не включая монеты, медали и значки, скульптуру, печати и ряд других вещей, отнесенных к другим коллекциям или разделам) и насчитывает более 4200 единиц основного и научно-вспомогательного фондов, как местного производства, так и привезенных со всех концов мира. В постоянных экспозициях находится менее 400 предметов, то есть около 10 %, но в целом почти половина имеющихся предметов ранее так или иначе была представлена вниманию посетителей.

Коллекция в ее сегодняшнем виде начала формироваться одновременно с заполнением послевоенных книг поступления — в 1948 г. Время было сложное... Новосибирск в годы Великой Отечественной войны принял не только эвакуированные заводы и людей, но и несколько музеев, обеспечением сохран-

ности фондов которых занимались наши сотрудники. Свои же коллекции и документация в это время были размещены в непригодных помещениях (вплоть до чердаков школ), что и привело к утрате или порче части вещей, а главное — пропали довоенные паспорта предметов, описи и почти все инвентарные книги. До сих пор из-за этой потери некоторые предметы атрибутированы недостаточно надежно, и до сих пор мы принимаем в фонды вещи, поступившие в 1920—1930-х гг., но отложенные «до лучших времен» просто потому, что иногда даже понять, что перед нами, — и то сложно... Так, в прошлом году при разборе неатрибутированных безномерных предметов из камня, ждавших своего часа 70 лет, были обнаружены два несторианских надгробия приблизительно XIV в. из Средней Азии — очень интересные, редкие предметы с резными изображениями и надписями, с явно богатой и необычной судьбой...

Судя по всему, первые послевоенные музейные книги поступления заполнялись исходя из наличия предметов в «местах хранения» — возможно, по мере распаковки ящиков, возвращаемых с временных складов. Этим объясняются блоки явно однотипных вещей, например китайских вазочек, церковной утвари или курительных трубок. Этим же можно объяснить и хронологический разрыв, когда довоенные предметы вписывались позже послевоенных.

В частности, первым номером в коллекции «Изделия из металла» числится «Ваза в честь победы над Германией». Это работа Михаила Алексеевича Рогова, автора первого в Новосибирске обелиска в честь победы в Великой Отечественной войне, установленного в 1947 г. в центре площади Ленина и разрушившегося от ветра в 1948 г. Родившийся в 1905 г. в Стерлитамаке, М. А. Рогов известен как художник-прикладник, автор различных ваз, шкатулок и прочих подобных вещей, в том числе и подарков И. В. Сталину «от трудящихся области». Работы Рогова участвовали в художественных выставках (в том числе и межобластных), проходивших в Новосибирске в конце 1940-х гг., публиковались в каталогах.

* * *

Если обратиться к трем сохранившимся довоенным инвентарным книгам этнографических и исторических коллекций (где изделия из металла фигурируют в одном ряду с предметами из кости, камня, а иногда и просто природными объектами), то старейшим уверенно опознанным поступлением



Ваза в честь победы над Германией



Амулет в виде птицы

ем окажется амулет, полученный в дар от И. М. Сулова в ходе экспедиции Е. Н. Орловой в Туруханский край в 1923 г., притом что лишь в 1985 г. постоянно находившаяся в экспозиции коллекция шаманских «божков» была записана в современную книгу поступлений.

Фигурка, изображающая птицу с коваными и соединенными с помощью заклепки туловищем и крыльями, декорированными насечкой, соответствует записи: «Лозы — амулет в виде животного из железа; длина с головой 16 см, ширина с крыльями 10 см; кованный и склепанный; долганы? От Сулова, Туруханский край, 1923 год».

К сожалению, описания прочих предметов из того поступления соотносятся с имеющимися экспонатами недостаточно надежно.

Вообще, этнографические предметы коренных сибирских народов, полученные в результате поездок, сборов и экспедиций — от Алтая до Якутии — сотрудников краевого музея в 1920—1930-х гг., являются костяком довоенных коллекций и сейчас составляют золотой фонд музея. Большая коллекция курительных трубок, различные подвески (ритуального характера, утилитарные и украшающие), инструменты и приспособления — все это было собрано музеем еще до того, как тотальные изменения жизни и быта докатились из советской России до отдаленных регионов Сибири; подобных предметов только в коллекции «Изделия из металла» в общей сложности около 50 из чуть более чем 100 единиц этнографии.

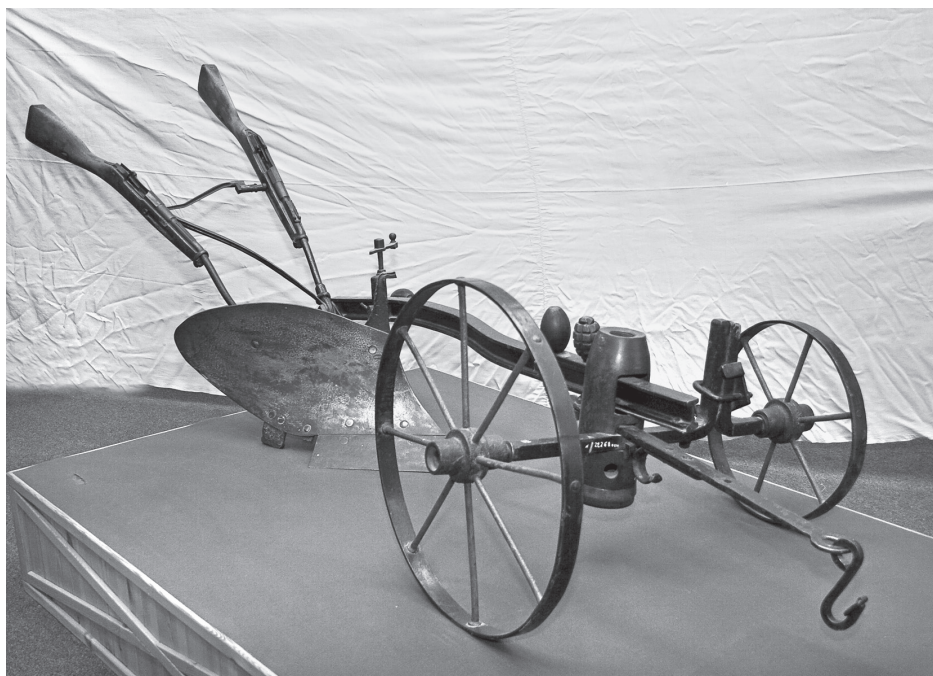
«Восточной» же коллекции при всей ее объемности (64 единицы металла, не считая медной и литой пластики, числящейся в коллекции «Скульптура») не хватает системности, она фрагментарна и состоит хоть и из интересных вещей, но — вещей случайных, не складывающихся ни в один комплекс, не раскрывающих с достаточной глубиной ни одну тему. Впрочем, среди предметов, попавших в музей в первые два десятилетия его существования, есть и очень интересные — такие, например, как китайский чайник, сделанный из тонко раскатанного свинца.



Есть в коллекции «Изделия из металла» и экспонаты, относящиеся к истории Новосибирска тех бурных лет. Нечколько старейших предметов связаны с размещавшимся в Новониколаевске в 1920—1930-х гг. 62-м стрелковым Новороссийским Краснознаменным полком 21-й Пермской Краснознаменной дивизии — это два подарка, изготовленные бойцами и командирами полка для II Окружного съезда Советов рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов в 1927 г.: «Плуг мира» и декоративный щит (косвенно к этой группе экспонатов относится и кофейник, подаренный полку лысьвенскими рабочими в 1931 г.).

«Плуг мира» собран по популярной в начале XX в. колесной схеме из двух винтовок Мосина: одна — Тульского завода, вторая — военного заказа 1915 г. (New England Westinghouse Company, Восточный Спрингфилд, США). Вся конструкция из винтовок, штыков, снарядов и гранат представляет собой своеобразную интерпретацию библейского высказывания о перековке мечей в орала (плуги). Вероятно, этот плуг должен был символизировать окончательный переход от Гражданской войны к мирному строительству.

Надпись же на декоративном щите, выгравированная между изображениями крестьянина, правящего оселком косу, и красноармейца в зимнем обмундировании на посту, гласит: «Кр-дцы и комполитсостав 62 стр. краснознаменного полка — Шефу II Новосибирскому Окружному съезду советов Р.К.К.Д. Стройте социализм в стране, укрепляйте оборону СССР — Красная Армия стойко охраняет строительство социализма и всегда готова дать отпор мировой буржуазии. 16/III/1927». Известен один из инициаторов изготовления этих вещей: начальник оружейных мастерских полка Павел Агафонович Поляков. Третий предмет — кофейник с изображением ордена Красного Знамени — подарен новосибирцам после того, как 62-й полк доказал утверждение, выгравированное на щите, и отличился в конфликте на КВЖД в 1929 г. Стоит от-



Плуг мира

метить, что эмалированная посуда в то время производилась в СССР только в Лысьве, и роспись по эмали была освоена лишь в самом конце 1920-х гг.

Индустриализация первых пятилеток породила забавную традицию «первого чугуна» (или шире — «первого металла»), выпускаемого вновь открытым литейным производством, в виде агитационных плакеток, барельефов или фигур. Заводы Сибкрая не могли остаться в стороне от этого движения и подарили городу, стране и миру свои самобытные образцы, находящиеся теперь в наших музейных фондах. Так, в 1933 г. новосибирский завод «Сибтекмаш» («Сибтекстильмашстрой» — бывший «Сибкомбайн», будущий «Сибсельмаш» — в период с ноября 1932 г. по декабрь 1933 г.) в подарок Новосибирскому горкому ВКП(б) отлил плиту размером примерно 40 x 60 см с портретом Ленина в кресле на фоне заводов с дымищими трубами и маленькой жалкой деревушки из трех домов в правом верхнем углу. Чуть ранее, в 1931 г., Новосибирский завод имени XVI Партсъезда оформил свой первый чугун в аккуратные пирамидки, хорошо смотревшиеся на рабочем столе какого-нибудь партийного или хозяйственного руководителя среднего звена. Барельеф с достаточно сложным пропагандистским сюжетом (портретом Сталина и композицией, характерной для плакатов той эпохи) выдали и кузнецкие металлурги — они так и написали на своей плакетке: «Первый чугун от ударников Кузнецкстроя».

Интересна и судьба другого портрета И. В. Сталина — эта чеканка метровой диаметра подарена, судя по надписи, «Новосибирскому облисполкому от польских граждан, проживавших в Новосибирской области в 1941—1946 годах». Принимать в фонды такую вещь в то время, когда страна в едином порыве боролась с развенчанным XX съездом партии культом личности, было неполиткорректно — так она и пролежала в подвалах до 2000-х гг., хотя само сочетание парадного портрета вождя в форме генералиссимуса с дарственной надписью от фактически высланных в Сибирь из присоединенных к СССР западных частей Украины и Белоруссии поляков обеспечивает потрясающую глубину погруженности предмета в свою эпоху.

Имеется в нашем собрании также небольшая коллекция личных вещей и предметов, связанных с другой знаковой персоной Гражданской войны и первых пятилеток — С. М. Кировым. Так, нож, полученный в 1950 г. в числе других вещей от родственницы Кирова (вероятно, сестры жены) Софии Львовны Маркус, — жемчужина нашей хоть и небольшой, но яркой подборки отечественных складных ножей.

Этот шестипредметный нож с накладками из темного рога, латунными заклепками и антабкой для страховочного шнура хранится в узком кошельке из мягкой коричневой кожи, каковые были весьма распространены в XIX и начале XX в. и использовались в качестве футляров для самых разных предметов (вплоть до небольших пистолетов). На основном клинке выгравирована надпись, сообщающая о месте и поводе получения подарка: «3-ей Нижкрай Конференции В.К.П.(б.)» (вопрос присутствия С. М. Кирова на этой конференции не изучался). На пятке клинка имеется клеймо изготовителя — Павлово-Муромского металлообрабатывающего треста, объединявшего ряд кустарных артелей и предприятий Нижегородчины, в том числе и большинство ножевых производств. В опубликованных документах по организации ножевых производств Павлова и окрестностей неоднократно встречаются распоряжения изготовить партии предметов в честь того или иного события — в основном, конечно, это



послевоенные документы, но в данном случае мы имеем в полном смысле этого слова железное подтверждение существования этой практики уже на рубеже 1920—1930-х гг.

Сама коллекция складных ножей охватывает период от конца XVIII в., представленного образцом, полные аналоги которого нередки в находках на Бородинском поле, до некачественного ширпотреба начала 1990-х гг., когда советские предприятия-изготовители складных ножей массово прекращали существование. В основе собрания лежит выборка из крупной частной коллекции, отлично сочетающаяся с ранее имевшимися в музее редкими образцами — такими как вышеупомянутый «нож Кирова» или складной маникюрный набор с ножницами павловской работы 1920-х гг. При формировании коллекции мы постарались обеспечить и охват тем, и глубину возможного показа производства, а главное — бытования такого привычного предмета, ведь хороший складной нож был культовой вещью советского школьника и многие еще помнят свои чувства при получении вожденной «белки» или еще лучше — «охотника со стопором», за который можно было и в милицию загреметь...

Эта коллекция вообще достойна отдельного разговора, и здесь мы, пожалуй, упомянем лишь один образец, на примере которого можно показать исследовательскую часть музейной работы, остающейся, как правило, вне поля зрения посетителей.

Итак, что мы имеем на старте? Складной однолезвийный нож, рукоять с самодельными накладками из алюминия (в передней и задней частях) и текстолита (посередине). В текстолите имеются овальные «окошки» из плексигласа, в которых с одной стороны — фотография мужчины, с другой — изображение мужчины в костюме начала XVIII в. в динамичной позе. На заднем торце рукояти — округлый выступ, в отверстие которого вставлено кольцо для крепления шнура. Клинок утоньшается к острию, режущая кромка равномерно сточена в передней части в ходе бытования. Обух прямой, с небольшой «щучкой» у острия; ногчение (полукруглая выемка для раскрывания клинка) отсутствует. В основе предмета — детали ножа фабричного производства: пружины, стальные пласти-



Нож перочинный



ны основания рукояти. Среди известных образцов советских складных ножей подобная форма и подобный способ крепления кольца для шнура не встречаются. Детали и манера изготовления говорят нам, что с большой долей вероятности это — так называемое «окопное творчество», то есть нож, сделанный или переделанный в какой-то мастерской в действующей армии во время Великой Отечественной войны. Вопрос — в чьей армии? Почти с равной вероятностью это могли быть и наши, и немцы... Ключом была маленькая мутная черно-белая картинка, вырезанная, судя по всему, из газеты: интуиция подсказывала, что на ней — Петр I, но пришлось перелопатить массу репродукций, чтобы опознать-таки в этой картинке фрагмент черно-белой фотокопии картины И. К. Айвазовского «Петр I при Красной Горке, зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим» (1846 г.), а это позволяет уже с уверенностью говорить о русском происхождении ножа.

* * *

Собственно говоря, это одна из основных частей работы по изучению музейных собраний — анализ публикаций, посвященных тем или иным коллекциям, поиск аналогов имеющихся предметов, работа с каталогами, прейскурантами, фотографиями и другим изобразительным материалом, могущим дать информацию о предмете. Чаще всего такая работа проводится по предметам со спорной или неясной атрибуцией, в отношении которых существует надежда на то, что подобные им уже были атрибутированы, изучены и опубликованы ранее. В принципе, почти всегда так оно и есть, но в приложении к конкретным вопросам вскрываются иногда весьма любопытные коллизии, из которых при желании можно сделать далеко идущие выводы.

В качестве примера такой коллизии можно вспомнить так и не опубликованное в свое время (2010 г.) исследование двух балочных топоров из собрания музея.

История этих топоров достаточно запутанна. В течение нескольких десятилетий они лежали среди предметов, утративших номер и легенду, пока не было окончательно установлено, что они не входили в состав коллекций, зафиксированных в послевоенной документации. Сохранившиеся довоенные записи также не дали ответов на вопросы об источнике и времени поступления. Сильно осложнило выяснение истории предметов и отсутствие консенсуса по вопросу о том, что это вообще такое. В общем, прекрасные образчики предметов из серии «когда поймем, что это, — тогда решать и будем, а пока пусть в загатнике полежат».

Что мы имели? Топоры без топорниц, отличающиеся своеобразной формой, значительными размером и весом. Длина топоров по лезвию 37,4 и 36 см, ширина у нижнего края проушины (всада) 22,5 и 22 см соответственно. Проушины подпрямоугольные, со скругленными углами в нижней части, имеют сходжение на конус. Таким образом, проушина первого топора имеет размеры 6 x 3 см внизу и 2,7 x 1,6 см вверху; второго — 6 x 3 см и 4,4 x 1,7 см соответственно. Проушина первого топора в верхней части имеет небольшие дополнительные пазы треугольной формы спереди и сзади. Общие габариты обухной части (насада) 7,5 x 15 см и 7,2 x 15 см соответственно. Характерными признаками обоих топоров являются односторонняя «стамесочная» заточка и асимметричность лезвия, смещенного влево, что обеспечивает большее удобство



Балочный топор

при обработке дерева справа, правой рукой. Масса каждого топора — около 3 кг. Клейма отсутствуют. Аналогичные топоры в Новосибирской области имеются в Тогучинском районном музее, музее Заудовской средней школы Болотнинского района, а также в музее города Тайги Кемеровской области. При этом предмет из Заудова отличается наличием крупного, занимающего практически всю щеку топора архаичного клейма.

Разнобой же определений при этом небогатом материале поражает. Так, коллеги из Заудова остановились на первом же приходящем в голову при знакомстве с подобным предметом определении: «Возможно, боевая секира». Тайгинцы оказались гораздо более категоричны: «Казачий бердыш XVI в.», что забавно уже хотя бы потому, что бердыши в отечественных документах впервые упоминаются на рубеже XVI—XVII вв. и становятся массовым оружием не ранее второй половины XVII в. А в нашем музее, как уже говорилось, высказывались различные мнения — от «мясницкого топора» до «детали плуга», — и уже сам факт такого разброса говорит о многом. Например, о том, что данный предмет настолько сильно выходит за рамки кругозора современного человека, что он не просто не узнает его — он даже не в состоянии определить функцию, поэтому вынужден либо «дистраивать» ее, либо подбирать что-то близкое среди предметов по аналогии, опираясь на те или иные элементы и черты, кажущиеся ключевыми. Также понятно, что как минимум в разбираемых случаях предыдущие публикации по рассматриваемому вопросу если и были, то научным сотрудникам оказались недоступны. Ко второму пункту мы еще вернемся. Рассмотрим пока первый.

Как это ни странно, но предположение о сельскохозяйственном предназначении представленных предметов имеет определенное основание. Во-первых, специфическое строение проушины: сужаясь сверху, она, казалось бы, предполагает приложение усилия в противоположном направлении, в то время как при рубке центробежная сила при такой конфигурации проушины будет сдерживать



топор с топорница (тем более у топора такой массы). А во-вторых, совершенно неясен функционал топора именно такой формы, но зато в литературе встречаются детали плугов, отдаленно похожие на представленные предметы (см., например, «Хозяйство и быт русских крестьян», М., 1959), усилие при эксплуатации которых прикладывается как раз так, как надо.

Вторая версия строится на других особенностях образцов, выделяемых в качестве определяющих, и руководствуется принципиально иной логикой. В ее рамках вес объясняется необходимостью проламывания доспеха, а форма считается вариацией на тему бердыща, на который эти топоры, действительно, отдаленно похожи. Но при этом не принимаются во внимание односторонняя заточка, сдвиг и зачастую поворот лезвия относительно оси, характерные для рассматриваемых предметов и явно несущие некую излишнюю для оружия функциональную нагрузку, а форма проушины по умолчанию считается «нормальной». Как это ни странно, но первым доводом против этой версии послужил именно вес предметов — он слишком велик для использования в бою. А вторым и последним аргументом стало то, что все нюансы состояния, изготовления и декора предметов вместе и по отдельности говорят о том, что созданы они были не ранее XIX в. (разве что для заудовского предмета при самой смелой оценке нижняя планка может быть опущена до конца XVIII в.), что для боевого топора, имевшего широкое распространение на территории России, — полный нонсенс.

Можно ли было путем индукции из имеющихся признаков восстановить назначение этих топоров? Да, в принципе можно — смещение лезвия и односторонняя заточка вполне определенно говорят в пользу того, что это специальный топор для тесания. Но для того, чтобы сделать такие выводы, необходимо иметь весьма глубокие познания в плотницком деле, что в принципе редкость для современных горожан, особенно с гуманитарным образованием. И следует признать, что даже успешная индукция не раскроет тонкостей назначения и бытования предметов.

Зафиксировав в качестве стартового результата «топор для каких-то специальных работ» и спорность атрибуции ближайших аналогов, мы перешли к углубленному поиску публикаций по теме и всех доступных аналогов. И если аналоги в количестве, превышающем сотню единиц, нашлись в музеях России, ближнего и дальнего зарубежья, на руках у граждан и на антикварных аукционах по всему миру, то русскоязычных публикаций, в которых упоминается исследуемый предмет, было на 2010 г. выявлено ровно три: Маковецкий И., «Русская изба» («Наука и жизнь», № 12, 1966 г.), Сазонов А. И., «Такой город в России один» (Вологда, 1993 г.) и Мелехов В. И., Шаповалова Л. Г., «Ретроспективный взгляд на плотницкий инструмент» («Вопросы истории естествознания и техники», № 2, 2004 г.). Возможно, это неполный список, но такой небогатый результат вполне объясняет, почему научные сотрудники музеев en masse о такой штуке, как потёс, не слышали, даже имея его в своих коллекциях (позже к списку добавились зарубежные издания, в т. ч. каталоги и прейскуранты конца XIX и первой половины XX в.).

А дальше все еще интересней: в первой публикации рассматриваемый тип топоров, называемый «потёс», указывается как инструмент русского деревянного зодчества XVII в., выходящий из употребления в течение XVIII в., в следующих же — просто как характерный для XVII—XVIII вв., тогда как у нас все наличные предметы — не ранее начала XIX в. Более того, в отличие от любых других предметов XVII в., потёс — вещь хоть и редкая, но регулярно



«всплывающая» в состоянии близком к идеальному по всей территории бывшего СССР. Как говорится, противоречие налицо... Ну и наконец, в качестве фактического аргумента: XVII в. для археологии русского народа еще интересен, но подобных предметов среди находок, насколько удалось выяснить, не встречается. Напротив, известны потёсы с русскими клеймами характерного для второй половины XIX и начала XX в. рисунка, а также произведенные заводом «Фискарс» (Финляндия), в том числе и для русского рынка, в тот же период времени.

Поставив под сомнение публикации, мы обратились к музейным атрибуциям. В основной экспозиции Русского этнографического музея в Санкт-Петербурге имеются два подобных образца, полученных в результате полевых сборов в начале XX в. — первый из Галиции (точнее — с. Норинск Овручского уезда Волынской губернии), его местное название записано как «шлюда», в документах зафиксировано, что предмет считался «старинным» для начала XX в., а второй — «шклюд», или «склюд», «секира для обработки лесных материалов» из с. Чугевичи Мозырского уезда Минской губернии. Второй имеет рукоять длиной 58 см. К сожалению, публикации РЭМ по этим топорам неизвестны, более того, в ходе консультаций весной 2009 г. работниками музея были высказаны предположения об отсутствии оных. Что ж, на этом этапе мы смогли зафиксировать как минимум один положительный промежуточный результат — наши предметы определенно являются тесовыми топорами, и все прочие предположения об их назначении ошибочны.

Впрочем, в ходе исследования к этому моменту уже было поставлено под сомнение определение данного типа топоров как русских, потому что быстро стали заметными особенности географического распределения обнаруженных аналогов (увеличение их количества с востока на запад) и преобладание на них иностранных клейм при исчезающе малом количестве русских. Кроме того, даже беглый поиск по иностранному сегменту Интернета выявил, что, во-первых, подобных топоров на территории Западной Европы и Северной Америки существенно больше; во-вторых, в отличие от территории бывшего СССР, наблюдается полный консенсус в атрибуции; в-третьих, на зарубежном материале даже при таком поверхностном обзоре можно проследить эволюцию типа, переходы к другим, до сих пор бытующим формам; в-четвертых, рассматриваемый тип топора находился в производстве до недавнего времени, а кустарным способом и по частным заказам производится до сих пор; и в-пятых — там сохранились методы работы данными топорами, то есть как раз то, что нам не удалось бы воспроизвести путем индукции из особенностей предмета.

Выяснилось, что сохранившиеся рукояти, кажущиеся непропорционально короткими, отнюдь не предполагают высокоамплитудных движений, характерных для операций по рубке леса, — этот тип топора предназначен для обтесывания бревен или балок, располагаемых на козлах или лежащих на подпорках на уровне коленей рабочего, при этом обработка ведется за счет большой массы инструмента, согнувшись. Так что же представляют собой наши предметы с точки зрения иностранного специалиста? Стандартными определениями на антикварных аукционах являются Zimmermannsbeil (нем.) или goose-wing German style beil (англ.), с датировками от середины XVIII до начала XX в., в англоязычном наименовании также обращает на себя внимание прямая отсылка к месту возникновения типа. А учитывая неединичное использование изображения данного типа топора в гербах немецких, австрийских и швейцарских городов, следует согласиться с тем, что отечественные авторы приняли за старорусский



образец позднейшее заимствование. Насколько полно эта гипотеза объясняет отмеченные нами противоречия?

Отсутствие подобных топоров в археологических материалах вполне объясняется малой вероятностью заимствования ранее начала XVIII в. даже в случае возникновения типа веком раньше. Характер распространения (практически по всей территории Российской империи, но везде в небольших количествах, без явно фиксируемых областей преобладания — в отличие от северо-западного, или финского, типа) без сохранившихся навыков работы у населения также говорит в пользу позднего заимствования. В данном контексте рэмовское определение «старинный» можно прочесть как: «в хозяйстве давно, но никто толком не умеет с ним работать», и такой взгляд на редкий, нестандартный предмет вполне мог возникнуть в пределах одного-двух поколений. Причем такое возможно не только среди крестьян XIX в., но и во второй половине XX в., когда приемы хранения и передачи информации находились на принципиально ином уровне. Тем не менее, к примеру, стандартный советский топор для валки леса, массово выпускавшийся по ГОСТу 1960-х гг., во многих нынешних музеях определен как «колун», да еще при этом часто искусственно «состарен» на два-три десятилетия датировкой.

Следует также отметить, что заимствование выглядит весьма условным: не сложилась традиция использования образца, нет общепринятой техники, не зафиксирована технологическая ниша, которую призван заполнить собой данный инструмент. Может быть, имеет смысл говорить об импорте, хоть и копируемом, но в конечном счете не прижившемся в нашем хозяйстве?

Итак, на данный момент итоги исследования выглядят следующим образом: предметы являются тесовыми топорами немецкого типа *Zimmermannsbeil*, причем наши — рубежа веков и, возможно, изготовлены в России, а заудовский — примерно начала XIX в., изготовлен в Германии либо в России немецким колонистом. Данный тип проникает в Россию не ранее XVIII в., но, получив в XIX в. определенное распространение (возможно, главным образом в среде немецких колонистов), остается неизвестным или неоцененным в русской среде. Атрибуция, указанная в упомянутых публикациях Сазонова и Маковецкого, в настоящее время имеющимся материалом, мягко говоря, не подтверждается.

Кстати, к вопросу о литературе. Даже оставив в стороне тему ее недостаточного количества, качества и доступности (особенно для глубоко провинциальных музеев доцифровой эпохи), нельзя не отметить проблему в принципе слабой исследованности ряда утилитарных предметов и инструментов. В отличие от, допустим, фарфора, холодного оружия или литой православной пластики, найти подробную работу с типологией, хронологией и указанием производителей по тем же топорам, ножам и многим другим быденным предметам невозможно по той простой причине, что таких работ нет. По периоду до начала XVIII в. исследования типологии и эволюции есть, спасибо археологам, а дальше — слепое пятно вплоть до середины XX в., когда вышла серия работ по этнографии быта и хозяйства крестьян, фиксирующая некий «моментальный снимок» представлений об утвари и инвентаре.

Дело, видимо, в кажущейся неизменности «простых» вещей — для этнографа XIX в. вполне могло быть неочевидным, что быденный крестьянский нож, который ему показался не стоящим подробного описания, отличается формой, размером и технологией изготовления от такого же, но использовавшегося два поколения назад.



И тем более неочевидным было предстоящее быстрое и решительное изменение элементов быта и хозяйствования в первой половине XX в. — в принципе, этнограф, исследовавший быт крестьян в послевоенном СССР, мог не заметить степень изменений «давно устоявшихся форм», вызванных переходом к массовому производству типовых предметов в ущерб узкоспециализированным или местным образцам, мог быть неочевиден масштаб и характер потерь определенных навыков и технологий, ориентированных не на массы низкоквалифицированных рабочих, а на узких специалистов. И только сталкиваясь с предметами, подобными рассмотренным выше, начинаешь представлять размеры проблемы...

Необходимость масштабного изучения утилитарных предметов XVIII, XIX и начала XX в., таким образом, налицо — иначе мы так и будем и в дальнейшем сталкиваться с «казачьими бердышами XVI века» там, где их нет.

* * *

Есть в нашем музее и обратные примеры, когда, казалось бы, простой и очевидный предмет недавнего прошлого оказывается «вещью старинной, цены немалой», стоит лишь копнуть поглубже... История этого музейного предмета началась в 1985 г., когда житель Ленинграда Б. В. Корнеев передал нам в дар «сундук, в котором хранились ценные вещи»; к сожалению, в документах не отражено ни то, какие это были ценности, ни то, как сундук оказался в Новосибирске.

Сундук размером 70 x 40 x 38 см выполнен из железного листа, усиленного снаружи толстыми коваными железными полосами, закрепленными с помощью заклепок. По бокам имеются две массивные витые ручки с упорами. Вообще, слово «массивный» напрашивается при описании как всего предмета целиком,



«Сундук Армады»



так и его частей — переносить пустой сундук в одиночку практически невозможно. Петли для навесных замков закреплены на декорированных насечкой пластинах, выступающих из крышки; навесы накидываются на них снизу. Между навесами закреплена выпуклая декоративная накладка, имитирующая оформление замочной скважины. Настоящая замочная скважина потайная и расположена под подпружиненной пластиной в центре крышки.

В книге поступлений сундук был записан как «русская работа второй половины XIX в.», и это определение не подвергалось сомнению вплоть до самого последнего времени: Урал с его традицией окованных металлом сундуков, с точки зрения жителя Сибири, рядом. До 2013 г. сундук экспонировался в зале, посвященном освоению русскими территории Новосибирской области, а серьезной работы по атрибуции предмета не проводилось, несмотря на уже появившееся понимание того, что наш сундук сильно выбивается из назначенной ему категории. Для пересмотра позиции нужен был повод...

Этим поводом послужило обсуждение с краеведом из Екатеринбурга Василием Сухих свежеприобретенного им окованного металлом сундука уральской работы начала XX в.: разница между нашим предметом и типичным «уральцем» для человека, всерьез интересующегося темой, оказалась слишком велика. Было высказано несколько предположений о назначении предмета — от полковой кассы до сундука для золота с какого-либо прииска!

Кстати, хотелось бы отметить, насколько сильно изменились возможности поиска информации с 1980-х гг.: если в то время отсутствие литературы, описывающей аналоги исследуемого предмета, означало тупик (а ассортиментом спецлитературы могли похвастаться только крупные столичные музеи), то сейчас Интернет позволяет находить информацию по предмету даже в том случае, если изначально не известно, что именно мы ищем. В нашем случае поиск, начавшись с полковых касс XIX в., продолжился изучением механизма замка, расположенного в крышке сундука, — и закончился на фотографии «близнеца» нашего предмета из экспозиции музея в Национальном дворце Синтры (Португалия).

В ходе исследования выяснилось, что имеющийся у нас сундук на самом деле является сундуком для ценностей, наиболее близкие аналоги которого датируются концом XVII в. и обычно приписываются мастерским Нюрнберга или Аугсбурга. Имеющие устоявшееся со второй половины XIX в. общее наименование «сундук Армады» (в честь испанской Непобедимой армады), эти хранилища ценностей были распространены в Европе с середины XVI до начала XIX в. и отличались цельножелезной усиленной конструкцией и внутренним замком, занимающим все пространство под крышкой. При этом в запертом состоянии крышка фиксируется со всех четырех сторон, что делает бесполезными попытки вскрыть сундук путем сбивания петель. Сложный механизм внутреннего замка с вычурным ключом, секретам (а иногда и ловушками!), не пробиваемые инструментом XVII в. стенки и массивные навесы со скобами на два «амбарных» замка для организации доступа по правилу «трех ключей» обеспечивали достаточную защиту как материальным ценностям, так и документам.

Сразу после идентификации предмета встал вопрос о его вскрытии; со слов сдатчика нам было известно, что ключ утерян, а сундук пуст. Но, во-первых, под крышкой сундука должен располагаться очень сложный и красивый механизм; во-вторых, могла сохраниться прорезная или расписная декоративная пластина, прикрывающая этот механизм; и в-третьих — слова о пустоте сундука не исключали наличия подложки на дне или оклеенных чем-либо стенок.



«Сундук Армады»

К счастью, замок оказался не из самых сложных (без потайных кнопок, ловушек) или требующих работы ключом в последовательности «повернуть — протолкнуть — повернуть» и приглашенный специалист успешно справился с задачей.

Ключ поворачивается примерно на 180 градусов, преодолевая сопротивление пружин, после чего крышку можно поднять. Замок, на удивление, полностью сохранил работоспособность, несмотря на свой возраст и довольно сильное загрязнение. Корпус сундука по верхнему внутреннему краю имеет усиленный бортик, за который и фиксируются пять подпружиненных, защелкивающихся под весом крышки ригелей; с четвертой стороны крышка снабжена двумя выступами, заходящими за бортик при закрывании. Для предотвращения захлопывания служит кованая витая стойка, смонтированная на правой стенке. Сам механизм замка оказался закрыт декоративной накладкой из двух пластин с прорезным и гравированным изображением дельфинов в стилистике барокко. Пластины серебристого цвета, слабо корродированные, вероятно из луженого железа. Наличие подобных пластин характерно для предметов начала XVIII в.

В дне сундука имеются два круглых отверстия со следами шайб — считается, что такими отверстиями обычно снабжались морские сундуки, которые крепились к палубному настилу.

В настоящий момент проведена реставрация и чистка декоративной накладки, механизма и поверхности сундука. В процессе работы выяснилось, что черный цвет наш сундук приобрел, видимо, в результате пожара: при расчистке



была вскрыта роспись с изображениями цветов на зеленом фоне, на фальшивой замочной скважине обнаружались следы позолоты. Мы надеялись в ходе реставрационных работ обнаружить клейма или надписи, особенно на деталях замка, что могло бы помочь в определении производителя, но — увы! — клейм обнаружено не было...

Таким образом, предмет, считавшийся сундуком второй половины XIX в., оказался старше минимум на полтора столетия — конца XVII или самого начала XVIII в., что автоматически делает его уникальным для нашего региона, в котором Русское государство закрепляется острогами, построенными в 1700—1710 гг., при этом крупные аттрактивные предметы того времени в хорошем состоянии в нашем музее можно пересчитать по пальцам. Почти наверняка сундук этот вышел из немецкой мастерской, причем и накладка с дельфинами, и остатки внешнего декора говорят в пользу не просто утилитарного предмета, а предмета статусного. Характерные для морских сундуков отверстия открывают простор для фантазии — этот сундук реально мог повидать и пиратов, и южные моря, прежде чем попасть в холодную Сибирь за тысячи километров от ближайшего океана; впрочем, в таком же сундуке могли хранить документы и государевы люди времен Петра Великого...

* * *

Часто можно услышать претензии к музеям со стороны самых разных людей — мол, мы не показываем то, что храним, а иногда доходит и до слов о том, что вещь, попавшая в музей, считай, пропала, никто не увидит, никому не расскажут. Давайте на примерах попробуем разобраться, как обстоят дела на самом деле и, главное, почему.

Пример первый: жестяные коробочки. Те самые, в которых продавали и хранили чай, кофе, конфеты, рыбу, зубной порошок и патефонные иголки. Возьмем только основной фонд — 102 единицы, из которых за последние 10 лет не экспонировалась 31. Можно ли предположить, что они были представлены посетителям ранее? Да, но данные об этом не сохранились. Впрочем, это и не важно. Ведь что из себя представляет эта почти треть коллекции? Шесть коробочек в неудовлетворительном состоянии были приняты на хранение в советские годы с чисто практической целью — в то время от количества предметов в фондах напрямую зависел статус музея и зарплата сотрудников. Две поступили уже в этом году, и у нас еще не было повода их показать, а шесть коробочек относятся к 1980—2000 гг. — это современная история, только в последний год появившаяся в тематико-экспозиционных планах. Из оставшихся 17 годных предметов часть очень специфические — например, от киноплёнки, часть однотипные: четыре коробки от патефонных иголок, три — от зубного порошка; все они не попали в витрины просто потому, что без них можно было обойтись. Но две трети коллекции посетитель видел!

Пример второй — утюги. Чугунные чудовища, нагревавшиеся на плите или от засыпаемых внутрь углей. Их в основном фонде 48 единиц, из которых за последние 10 лет экспонировались шесть. Казалось бы, совсем другая картина — представлена посетителям всего одна восьмая собранного, но будем говорить честно: внутри двух-трех типов они, на первый взгляд, одинаковые. Поэтому нет никакой разницы, какой из духовых или наплитных утюгов стоит в витрине, даже если их менять — посетитель разницы не заметит. Можно,

конечно, выставить их почти все, чтобы эту разницу показать, но необходима предварительная работа, та же дорогостоящая реставрация, например, которая, кстати, была сделана в этом году многим предметам из чугуна — как раз имея в виду возможную выставку «тяжелого металла».

И третий пример: послевоенная продукция новосибирских предприятий тяжелой промышленности, станкостроения и прочей металлообработки — более 300 единиц только основного фонда, из которых экспонировалось в обозримое время менее полудюжины. Почему? Потому что в советское время музей брал все, что хотели оставить «на память потомкам» наши заводы: прокат, детали, запчасти, инструменты и т. п. Идея, в общем-то, не лишена смысла, и постоянная нехватка довоенных и дореволюционных образцов ее вроде бы подтверждает, но, как всегда, подкачало исполнение: две дюжины слабо отличающихся друг от друга гаечных ключей, пять десятков деталей, ни названия, ни назначение которых ничего не скажут человеку, который не работал с ними «при Леониде Ильиче», — и это притом, что вид их просто вгоняет в тоску и уныние с первого взгляда... Аттрактивность? Нет, не слышали, — это все, что можно сказать об этом разделе. Мы вынуждены это хранить. Возможно, когда-нибудь все это удастся как-то показать, но точно не сегодня...

И такая «коллекция» в составе музейного фонда далеко не одна, хотя есть и обратные примеры: из более чем 100 поддужных колокольчиков через выставки и экспозицию уже в этом веке прошли все. Стопроцентный охват! Коллекция «Африка», хранящаяся раздельно в зависимости от материала изготовления, активно экспонируется как в Новосибирске, так и в других городах России как единое целое. Подборка подстаканников, насчитывающая чуть менее 100 единиц, недавно была полностью продемонстрирована на выставке «Русский чай».

Мы работаем. Мы показываем посетителям то, что по-настоящему интересно. Мы придумываем, как можно увлекательно обыграть скучные, казалось бы, предметы, — и тогда показываем и их. Рано или поздно, но любой попавший в музей предмет будет продемонстрирован публике. Вопрос лишь во времени, но музей никуда не торопится, 100 лет для музея — небольшой срок.

И есть еще проблема площадей — места в залах для задуманного всегда не хватает, например, в зал, посвященный Великой Отечественной войне, в итоге попала едва ли половина предметов, намеченных в тематико-экспозиционном плане... На большее просто не хватило пространства. Так и живем...



Владимир БЕРЯЗЕВ

«ПОЛМИРА ТАЩИТ НА ВОЖЖАХ»

*К Международной научно-практической конференции
«Идея евразийства в мировой культуре»,
посвященной 110-летию со дня рождения Павла Васильева*

Когда говорят об идее евразийства в мировой культуре, я вспоминаю вывеску на фасаде главного университета в Астане (ныне — Нур-Султан), где ясно значится: имени Льва Николаевича Гумилева. И впрямь — это знак и запечатленный символ! И далеко не случайно, что именно в центре евразийского континента он явлен, ибо на этом гигантском пространстве от океана до океана смог родиться наш суперэтнос — и созрел, и прозрел, навсегда полюбив не свободу, а волю. Думается, этой вот лаконичной формулой довольно полно описывается суть поэтического творчества незабвенного сына России и Казахстана — Павла Васильева, а говоря о художественных корнях евразийства, мы с легкостью можем обнаружить их в стихах и поэмах, в нраве и повадках, в духе и выдохе сына Великой Степи.

Думаю, далеко не случайно Павел Васильев уже в ранней юности объял все это пространство в реале, в пути, преодолев во время своего большого кочевья тысячелетние дали Транссиба. Если сравнивать с поручиком Михаилом Лермонтовым (а сравнение это напрашивается в связи с краткостью поэтической судьбы — те самые роковые 27 лет), то следует признать, что Лермонтову такого

беспредельного географического размаха и не снилось: детство в имении бабушки Елизаветы Арсеньевой в Тарханах, Москва, Питер да ссылка из юнкерской школы на Кавказ. Но Восток поручик Лермонтов своим гениальным слухом и чутьем успел постигнуть, сие несомненно: уже в поэме «Мцыри» многие евразийские темы угаданы удивительно верно.

А размах странствий только что вышедшего за отцовскую ограду парубка Павла Васильева, действительно, впечатляет: в шестнадцать лет он уехал с берегов Иртыша, покинул свой Павлодар, свой «город ястребиный», через Омск и Новосибирск, через всю Сибирь попал во Владивосток, где несколько месяцев числился абитуриентом в университете (некоторые источники указывают, что он полгода проучился, но это не так). Тогда же Павел участвовал в работе литературно-художественного сообщества, поэтической секцией которого руководил дворянин Рюрик Ивнев, а в 1926 г. отправился покорять Москву, по дороге пожив и в губернских городах Зауралья. В то время приютил и обласкал Павла Васильева журнал «Сибирские огни», выходящий тогда под руководством В. Зазубрина (тоже расстрелянного в 1937 г.), автора скандально известной

повести «Щепка», рассказывавшей о безжалостной работе губернской Чрезвычайной комиссии, — повесть эта, кстати, впервые была опубликована в 1989 г. все в тех же «Сибирских огнях».

Так вот, как раз по путевкам «Сибирских огней» Павел пару лет поколесил по всей стране, но к девятнадцати годам все же обосновался в Москве. Жить ему оставалось всего семь лет, но за эти годы он сумел стать, как сказали бы нынешние блогеры, культовым столичным поэтом — при этом, как ни странно, вполне органично оставаясь и сибирским, и казахстанским, и дальневосточным.

Однако следует непременно отметить, что все эти географические перемещения не оставили бы ровно никакого следа в истории русской литературы, если бы Павел Васильев не обладал совершенно нечеловеческим поэтическим даром, который у встречных вызывал оторопь и до сих пор при ближайшем знакомстве с его сочинениями не укладывается в голове. Ведь не кто-нибудь, а крайне сдержанный на восторженные отзывы Борис Пастернак в свое время сказал, что Васильев по таланту равен даже не Лермонтову, а Пушкину. А еще менее склонный к похвалам Осип Мандельштам на рубеже 1920—1930-х гг. выразился более конкретно и безапелляционно: «В России сегодня пишут четверо: я, Ахматова, Пастернак и Васильев». В чем же состоит чудо? В чем неповторимость и уникальность явления?

Вот тут мы и приблизились к открытиям, совершенным Павлом Васильевым еще задолго до того, как Лев Николаевич Гумилев (после нескольких отсидок в ГУЛАГе и фронтовой эпопеи) сформулировал в своих трудах об этносфере теорию евразийства, — поэт и здесь как бы предшествует научной мысли.

...Дикое поле, «поле половецкое», «земля незнаемая», куда дерзнул направить своего коня по сей день неведомый

нам автор «Слова о полку Игореве», — это пространство еще в юношеской поэме Васильева «Песня о гибели казачьего войска» охватывается, запечатлевается с помощью топонимического ряда, и такой способ употребляется помимо удивительного ритмического разнообразия и фольклорных реминисценций. Возникает как бы путь войсковой, музыка казачьей гоньбы, трагедии исхода: «Тарабарили вплоть до Тары... в Урлютюпе хлюпали валы... у Тобола в болотах заседали бородатые... к Омску рекою хлеба потекут, кони красных бойцов понесут... под Кокчетавом верблюд кричит... идут плоты по Усолке... за Екатеринбургском волны... заря занимается над Алтаем... Лебяжье, Черлак и Гусиная Пристань, острог на Березах да Тополев мыс... далеко отсюда Красный Яр, за густыми выюгами Павлодар... Поречье, Поречье — сизый Иртыш, голуби слетают с высоких крыш!.. Белопёрый, чалый, быстрый буран, черные знамена бегут на Зайсан». Путь-дорога в две тысячи верст аж от Тобола, минуя Зайсан, до границы с Китаем, в Уйгурию — все как на ладони!..

Так же, как за век до него Лермонтов, двадцатилетний Павел Васильев нащупывает совершенно новую поэтику, где лепка образа исполнена рельефной мощи, а дух титанизма и предельность мастерства порождают лиро-эпические картины, напоминающие в своем трагическом порыве фигуры Микеланджело Буонарроти. Да-да, та самая сокрушительная мощь пассионарной энергии Возрождения, но с использованием архаического азиатского метафоризма и древней мифопоэтики великой степи Дешт-и-Кипчак!

На мой взгляд, самым ярким примером этого нового дерзкого метода в русской поэзии первой трети XX в. является датированное 1931 г. стихотворение «Верблюд». И здесь невозможно обойтись без подробного цитирования:

Захлебываясь пеной слюдяной,
Он слушает, кочевничий и вьюжий,
Тревожный свист осатаневшей стужи,
И азиатский, туркестанский зной
Отяжелел в глазах его верблюжьих.

Солончаковой степью осужден
Таскать горбы и беспокойных жен,
И впитывать костров полынный
запах,
И стлать следов запутанную нить,
И бубенцы пустяшные носить
На осторожных и косматых лапах.

Но приглядись, — в глазах его туман
Раздумья и величья долгих
странствий...
Что ищет он в раскинутом
пространстве,
Состарившийся, хмурый богдыхан?

О чем он думает, надбровья
сдвинув туже?
Какие мекки, древний, посетил?
Цветет бурьян. И одиноко кружат
Четыре коршуна над плитами могил.

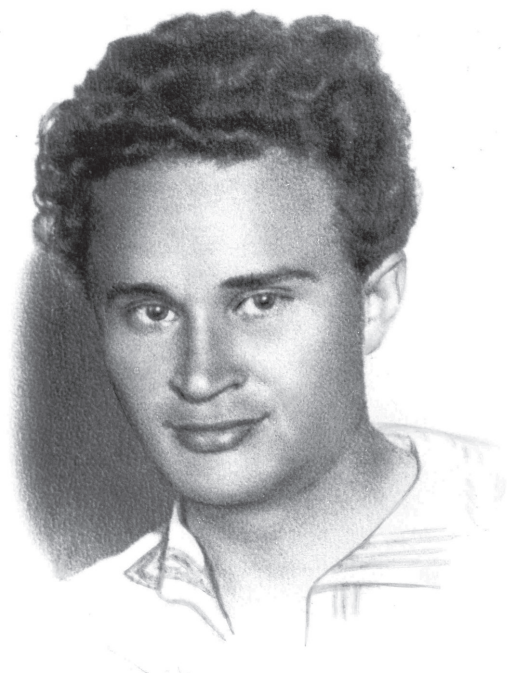
На лицах медь чеканного загара,
Ковром пустынь разостлана трава,
И солнцем выжжена мятежная Хива,
И шелестят бухарские базары...

Хитра рука, сурова мудрость мулл, —
И вот опять над городом блеснул
Ущербный полумесяц минаретов
Сквозь решето огней, теней и светов.

Немеркнущая, ветряная синь
Глухих озер. И прятный холод дынь,
И щит владык, и гром ударов мерных
Гаремным пляскам, смерти,
песне в такт,

И высоко подъяты на шестах
Отрубленные головы неверных!

Далее в качестве антитезы возникают картины Гражданской войны, и «на буграх лохматой головы тяжелые ладони комиссара» — но это лишь дань времени, на новом витке повторение все той же трагедии бытия в пределах вечного пространства Азии. Признаться, для меня



Павел Васильев в русской рубашке.
Фото из фондов Дома-музея П. Васильева
(Павлодар)

процитированные строфы — образец безукоризненного по изобразительной и фонетической точности слова, поэтического слова, передающего весь колорит этногеографический и временной. Пребываю в полной уверенности, что этот поэтический метод еще ждет своих исследователей-литературоведов, научных статей и диссертаций, поскольку материал огромен и до сих пор по большому счету не освоен. Но первостепенной задачей такого исследования я считаю работу по изучению и осмыслению одного из самых уникальных произведений, созданных Павлом Васильевым.

Речь идет о стихотворении «Тройка» — вещь эта демонстрирует даже не столько масштаб создавшего его таланта, сколько масштаб евразийской стихийной мощи имперской. Считаю, что ничего более безграничного, необузданного и в качестве некоего символа разбойничьей удали и богатейства передающего самую суть национального характера, суть России, — в мировой поэзии не существует, не создано:

**... И коренник, во всю кобенясь,
Под тенью длинного бича,
Выходит в поле, подбоченясь,
Приплясывая и хохоча.
Рванулись. И — деревня сбита,
Пристяжка мечет, а вожак,
Вонзая в быстроту копыта,
Полмира тащит на вожжах!**

Вот вам та самая не свобода, а — воля! Единственное, что можно вспомнить в связи с образом сим, это произведение, описывающее символическую суть другого суперэтнуса, не степного, не трансконтинентального, а морского, океанического, — я, конечно же, говорю о знаменитом «Пьяном корабле» Артюра Рембо. Следует признать, что «Пьяный корабль» по уровню таланта, по живописности, метафоричности, символичности поэтической творению Павла Васильева равен, но противоположен по духу, ибо проистекает из морского владычества над планетой франко-британской коалиции, а идеология этого владычества прямо противоположна евразийству.

Артур Рембо создал мифопоэтическую песнь о корабле, лишившемся матросов, которых «краснокожие для стрел своих в добычу, галдя, к цветным столбам прибили нагишом», о корабле, отправившемся в свободное плавание с полными трюмами товаров («английский хлопок вез и груз фламандской ржи»), о корабле, олицетворяющем некую анархию мира торговли и предпринимательства, в котором уже и люди (матросы с капитаном) могут отсутствовать, где остается лишь ветер странствий, открытость моря-океана на все возможные и невозможные стороны да романтическая детская мечта лирического героя, европейского подростка, который, «присев на корточки, пускает, как майских мотыльков, кораблик хрупкий свой». Поразительно, что один из лучших переводов «Пьяного корабля» сделал близкий по омской юности друг

Павла Васильева поэт Леонид Мартынов, — его и цитируем выше.

Вот вам, с одной стороны, степной вихрь разбойных коней, влекущий на вожжах полмира, некое продолжение гоголевской тройки-России уже после катастрофы великой революции, а с другой — вырвавшийся на волю волн, лишенный экипажа, полностью свободный европейский корабль! Чем не предмет для исследования, для сравнения, для постижения тайн и пророческого смысла поэтического слова?

* * *

...Замечательно, что в Казахстане поэзия Павла Васильева присутствует в школьной программе, я всегда с восхищением об этом рассказываю — вот с кого надо брать пример нашему министру образования Васильевой...

Не так давно довелось мне выступать в Доме учителя перед старшими классами. Впечатлений много. Сам дом — большой дворец, весь в мраморе, с аудиториями, студиями и большим зрительным залом с театральной сценой. В этом самом зале я и общался с подрастающим поколением, и надо сказать, что если девятиклассники еще сохранили в облике детские черты, то одиннадцатый класс — и юноши под притолоку ростом, и тем паче девушки — вполне взрослых форм. Да и в глазах этих наших замечательных деток я не обнаружил никакого наива или розовых мечтаний. Рассказывал им о «Сибирских огнях» с их вековой историей, об Алтае, об археологических древностях и Денисовой пещере с 60 000 лет уже разведанного культурного слоя, о евразийском «поясе народов»... Расспросил о школьной программе по литературе — из поэтов XX в. они знают Блока, Есенина, Маяковского, слышали про Ахматову и Цветаеву. Про Кюева не слышали, но рассказ про его

удивительную судьбу, про колпашевские и томские зоклочения и гибель, про установку ему памятника томичами удостоили вниманием.

А про поэзию Павла Васильева не слыхивали вообще....

Тут даже для учителей, думаю, я собщиц нужную и полезную информаццию — и про Павлодарский музей и новооткрытый памятник, и про замечательный старт Васильева в «Сибирских огнях» в конце 1920-х гг., и про житье в Новосибирске, и про само творчество, и про книгу в серии ЖЗЛ, и про замысел всероссийского поэтического фестиваля имени П. Васильева «Русский беркут» в столице Сибири под эгидой старейшего российского литературного журнала «Сибирские огни».

Кстати, из пятидесяти старшеклассников лишь один слышал имя и даже читал какое-то стихотворение Николая Заболоцкого — вот нынешний уровень лицейских классов Новосибирска... Так что поле для деятельности по пропаганде сокровищ нашей поэзии (и Павла Васильева в частности) просто немереное — в добрый путь!

P.S. Говорят, после того, как Максим Горький публично порекомендовал избавляться от поэтов, подобных Павлу Васильеву, выяснилось, что он не читал ни одного его стихотворения. А когда ему подсунули пару журналов с публикациями поэта, он через пару минут чтения вдруг не сдержался и заплакал. Вот только что-то изменить уже было нельзя...



Заметки на полях

Константин КОМАРОВ

ТРЕПЕТ И ТРЁП

О поэзии без поклонения, но с любовью

С Богом, помолясь, приступим к интенсивному, но, по мере возможности, пристальному огляду поэзии, которую осенью 2019 г. явили нам «толстые» журналы и различные связанные с поэзией литературные ресурсы — так сказать, отрефлексируем все это...

В сентябрьском «Урале» — новое (по крайней мере, для меня) имя: московский поэт Мария Козлова. Ее стихи, ориентированные на «неслыханную простоту» позднего Пастернака, однако, отличаются своей, незаемной нежностью к миру, в частности проявляющейся в «материнских» мотивах:

**Лишь от бессонницы усталость
Любую боль переболит.
Смотри, мой друг, какая жалость,
Какая нежность в мире спит.**

Подкупает в этих стихах искреннее, но не вырождающееся в дурную сентиментальность, а твердое, фактографическое восприятие поэзии как чуда:

**Чудес-то на свете немного —
От силы четыре всего.
Конечно, за вычетом Бога
И ангелов чудных Его.**

**Считаем: коллайдер адронный,
Селедка под шубой, лото,
Поэзии ангел картонный.
А все остальное не то.**

А в октябрьском «Урале» — уже имя знакомое: Инна Домрачева с подборкой «Книга на траве». Поэзия Домрачевой — тоже о нежности к миру, но эту нежность надо еще вычитать сквозь фирменную домрачевскую жесткую и горьковатую интонацию — иронию, обеспеченную и питаемую изнутри чистой и нефильТРованной лирикой:

**Птичка из книги раскрытой зерно
Истины — хватать.
Всех в этом доме волнует одно:
Как перестать?**

**Но до чего же ты ловкая дрянь,
Птичка чинарь!
Птичка, ой всё говорю, перестань,
Не начинай.**

Виталий Кальпиди на своем YouTube-канале, наблюдать за которым неизменно интересно, в двух частях аргументированно раскритиковал прошедший в ноябре в Челябинске фестиваль «Инверсия», вы-

сказавшись, в частности, о верлибрах: «Уважаемые верлибристы! Не стоит выдавать тараканов в своей голове за новый вид млекопитающих только на том основании, что они бегают абсолютно бессистемно и гадят, где захотят», — и добавив: «Нет более разрушительного рабства, чем быть рабом своей свободы».

Отдельно выпуск порадовал отточенными афористичными характеристиками некоторых представителей «актуальной поэзии». Так, о поэте Александре Маниченко Кальпиди говорит: «Мне не интересно смотреть на автомат газводы, изображающий “Газпром”».

Большие поэты вообще стали чаще заходить в YouTube; вот и Юрий Казарин продолжает свой цикл небольших лекций «Поэзия и текст» — прекрасный ликбез по нюансам внутреннего, глубинного устройства поэтической речи и ее специфики.

А в своей постоянной рубрике «Слово и культура» в журнале «Урал» Юрий Казарин говорит об устройстве поэтического сознания, позволю себе привести объемную цитату, ибо это важно: «Сознание поэта — есть текст, прежде всего обусловленный культурой. Такой “текст-культура” — главный движитель поэтической интенции и поэтического познания. Такой текст является осознанным и освоенным языковой, поэтической и культурной личностью поэта, т. е. текст идеальный, обобщенный и эталонный, освоенный в культуре, — текст совершенный, который способен породить иные — свои — оригинальные поэтические тексты и который стоит в основе реализации оригинального индивидуально-авторского и индивидуально-«коллективного» (влияние поэзии, существовавшей до появления поэта), индивидуально-традиционного и одновременно уникального текста. В осно-

ве текстонда лежит, брезжит и умирает текст-культура: текстонд реализуется и функционирует вне культуры. Не будем называть имен: у каждого поэта, за исключением А. С. Пушкина и О. Э. Мандельштама, есть свои написанные по тем или иным причинам текстонды. Однако и у Пушкина с Мандельштамом есть шуточные, “альбомные”, эпиграммные и проч. тексты, которые, безусловно, актуальны, но: актуальность убивает метафизику, интерфизику и познание; стихотворная актуальность оставалась и остается товаром, обладая антипоэтическим качеством аттрактивности, привлечения внимания, эпатажем и прочей социальной шелухой, забивающей поры поэзии, — в таких стихах поэзии нечем дышать: рыночный воздух, насыщенный запахами несвежей еды, контрафактного алкоголя, азиатской косметики, почерневшей красной рыбы и протухшей икры, — отбивает честный, чистый и страшный (от др.-гр. “трагедийного ужаса”) аромат эвристической и энигматической сферы бытия, небытия, инобытия и новобытия. Так порой сталкиваются стихотворчество и поэзия, литературность и поэзия, литературный рынок (с ценниками на текстах) и поэзия поэзии (Н. В. Гоголь), которая ничего не стоит, кроме жизни, души, смерти, любви и Его Самого».

Кстати, в свете непрекращающихся дискуссий о верлибре актуализировалось и высказывание поэта Владимира Гандельсмана (чья история со скандальным снятием своего стихотворения с премиального листа премии «Поэзия» — одно из самых громких событий ушедшей поэтической осени): «Прекрасный верлибр требует не только редкого мастерства, но и человеческой зрелости. Не представляю, как можно с него начинать. Если вы считаете, что он высшая математика, то как обойтись без знания арифметики?»

Но ведь я своими ушами слышал от молодого человека, пишущего верлибром, что его воротит от рифмованных стихов. То есть? От Тютчева, Лермонтова, Блока, Пастернака? Это профнепригодность».

Сама же премия «Поэзия» стала главным предметом осенних разговоров, среди которых выделю несколько авторских колонок в седьмом выпуске «Легкой кавалерии» — резонансной литературно-критической рубрики журнала «Вопросы литературы». Общий меседж — ожиданий премия не оправдала. И это еще мягко говоря... В общем, рекомендую к прочтению.

Обновленный «Журнальный зал» пополнился журналом «Зинзивер», который, правда, смотрится там пока не слишком убедительно — так, подборки Ирины Чудновой, Сергея Волкова и Андрея Борисовича Родионова (не слэмового, а другого) серьезным уровнем поэтического высказывания похвастать не могут, но зато любопытны воспоминания критика Эмиля Сокольского — в частности, о его единоразовой переписке с покойным критиком-хулиганом Виктором Топоровым, завершившейся так: «Далее последовал комментарий одного из хулителей Топорова. Я ответил: “Не ругайтесь. Он безобиден, поскольку его невозможно воспринимать всерьез. Странно, что он не знает значения слова “зоил”, которое ко мне никак не лепится. И ругается неталантливо. Куда лучше, например, Марциал:

**Ванну зачем ты грязнишь, Зоил,
свой зад подмывая?
Чтоб еще хуже ее выпачкать,
голову сунь”.**

Топоров удалил ругань хулителя, а заодно и мой комментарий. Удивляюсь: “Зачем удалили? Пристойный, интеллигентный комментарий”. — “Я Вас не

френдил, я Вас не стирал, еще раз объявитесь здесь — просто забаню”, — был ответ».

...К слову сказать, редактор «Зинзивера» Евгений Степанов в другом своем детище — журнале «Дети Ра» — уже много лет из номера в номер не считает зазорным публиковать свой дневник, благодаря которому мы узнаем, когда и как окотилась редакторская кошка, ответственно ли работают строители на постройке его дачи, куда он съездил, как поживает его семья, а также читаем неисчерпаемые жалобы на продажное телевидение, продажную власть, вороватых чиновников, друзей-предателей... В общем, как в анекдоте — и тут выезжаю я на белом коне, в белом фраке, с букетом таких изданий, как «Литературные известия» или «Поэтоград» (содержание коих подробнейшим образом расписано в дневнике), и сомнительными проектами вроде «Союза писателей XXI века»... В общем, для желающих узнать актуальные и животрепещущие подробности современного поэтического процесса этот «Дневник» — источник незаменимый.

А про «Колонку редактора» в журнале «Дети Ра» я и вообще хотел бы промолчать, да не могу — например, в свежем на данный момент номере (9-10) она выглядит так:

**Успех, тусовки, трали-вали —
Прекрасно поколение «Next».
А все же цель — не фестивали.
Но — текст.**

Спасибо, кэп, как говорится... Удивительно, но у этой колонки есть даже свое название, и звучит оно так — «Цель». Ни больше ни меньше! То ли редактору нравится позориться на весь честной народ, то ли... Если честно, я уж и не знаю, что подумать!

Правда, несколько примиряет меня с журналом то, что в этом же номере в рубрике «Переключка поэтов» опубликована подборка Ольги Ивановой — поэта мощной, жесткой, напористой, внятной и убедительной стихотворной экспрессии. Стихи Ивановой мне весьма импонируют, потому не откажу себе в удовольствии привести пару строк из ее «цикла ст-й “ли-ри-ка”»:

**занавесив занавестки
шняги нежные гоня
тема смерти — на повестке
назревающего дня**

**вороша шмотья ошметки —
не дошаришь до души
не смехи ея подметки
и подмостки не смехи.**

А в октябрьской «Звезде» — уже стихи самого редактора (думаю, все уже догадались, что речь идет о Евгении Степанове). Подборка продолжает лейтмотивную (и уже успешную порядком набить оскомину) тему честности и неподкупности лирического героя (явно автобиографического) во враждебном мире, полном подлости, лжи, лицемерия, предательства и воровства — в мире, где, говоря словами Маяковского, «обнажают зубы если, только чтоб схватить, чтоб лязгнуть...»; такое развитие темы из анекдота про ослепительно белый фрак — на сей раз поэтическое...

Прямота лирического высказывания Степанова могла бы импонировать, если бы она не скатывалась постоянно в однообразную прямолинейность. А прямота и прямолинейность — вещи кардинально разные, равно как простота и упрощенность. И потому жалеть степановского героя не тянет, ибо слишком уж настырно он на эту читательскую жалость напрашивается, рассыпая веером риторические вопросы:

**Разве долго у краля
Я торчал в непотребных притонах?
Разве много украл
И сховал в закромах потаенных?**

**Разве я проморгал
Свой талант, растащил по лабазам,
Разве не помогал
Тем, кому помогать был обязан?**

Противоядием от страшного мира становится, разумеется, дачное житье-бытье в подмосковном Быково, где героя ждет «зычная удача и отрада — любоваться ладом винограда» и простые радости возделывания своего сада. На редкость простые:

**Нет красивой и слаще редиски,
Что я вырастил в этом году.
Ни в каком навороченном «Дикси»
Я редиски такой не найду.
А укроп? Нет вкуснее укропа.
А взметнувшийся ввысь виноград!..
...Позабыты Нью-Йорк и Европа.
Я в Быково. Я этому рад.**

Конечно, дачный хронотоп — мотив для поэзии благодатный, но погружаться в него я лично предпочел бы, например, по Пастернаку, а не по Степанову.

...Теперь о хорошем. В сентябрьском «Новом мире» — замечательная подборка Елены Лапшиной «Лучше ничего не говори». Лапшина — поэт бережного и трепетного прикосновения к реальности, умеющая почувствовать ее сновидческую подоплеку, увидеть во временном, тленном, преходящем «вечность внеземную» и передать это чувство читателю. Она все делает с любовью, даже обличает:

**Молчи себе, а нет — с любовью
обличай,
по мелочи пеняй, оправдывая случай.
Не нарочито — нет, —
как будто невзначай.
А лучше ничего не говори,
не мучай.**

Бережность и трепетность поэтического прикосновения характеризуют и стихи Ларисы Миллер, опубликованные в № 67 журнала «Новый берег»:

**Погляди-ка, мой болезный,
Колыбель висит над бездной,
И качают все ветра
Люльку с ночи до утра.
И зачем, живя над краем,
Со своей судьбой играем,
И добротный строим дом,
И рожаем в доме том.
И цветет над легкой зыбкой**

**Материнская улыбка.
Сполз с поверхности земной
Край пеленки кружевной.**

Думается, именно эти качества ценил в ее поэзии Борис Рыжий, который вел с ней напряженную переписку...

Поэтическая осень в России всегда урожайна, и прошлая — не исключение; в журнальных стихотворных россыпях есть, конечно, что еще отметить — как в плюс, так и в минус, но и формат нашей рубрики не резиновый. До встречи, дорогие читатели!



Светлана МИХЕЕВА

ВОЙСКО РОЗ

*Шереметева Майя-Марина. Рентген крыла. —
М.: Русский Гулливер, 2019*

Книгу я получила в августе, когда производительное напряжение природы дошло уже до края и намеки на угасание, на его признаки чудились во всей совокупной жизненной мощи, — может быть, поэтому ощущение небывалой естественности стихов поначалу захлестнуло, перебило все прочие впечатления...

Выглядывала из окна в лес, который, казалось, прогнулся от тяжелого желтого солнца, смотрела на дятла с красной башкой, простукивавшего полумертвую березу, — дятел Дилан, герой и красноголовый ангел этой книги, открылся весь и сразу. Без сомнения — шумит лес, и деятельная природа в своем круговороте обнадеживает человека. Позже я узнала настоящую историю дятла с переломанным крылом, однако же это ничего не добавило для меня к стихотворению — значит, оно существует уверенно, существует без подпорок.

...«И шар прозрачный пчел, и ос, и облак полон...» Даже предисловия, рассудительно замечающие, что автор наследует и продолжает традиции Велимира Хлебникова и футуристов его толка, что страх влияния автору нипочем, — оказались бессильны против этих «облаков» и «пчел». Слова о традициях и наследственности становятся излишни, когда

естественность внутреннего авторского зрения совпадает с естественностью его речи, где «заумь» — не ломаная, не чужая, не заимствованная. Это уже и не заумь вовсе — речь автора здесь похожа на водную гладь, она подвижная, глубокая, непредсказуемая. Всё нарастает — пространство книги открыто тебе, словно смотришь на пейзаж. И, как в пейзаже, простор и ясность скрывают самые главные тайны — любви, смерти, надежды. Обо всем здесь вдруг читаем...

Обилие разделов в книге «Рентген крыла» иногда подводит: слишком много смыслов проплывает и крутится в этой реке и без того, а дробность сообщает сборнику Майи-Марины Шереметевой некоторую порожищность — если мы и дальше будем сравнивать его с рекой. И эти пороги вполне преодолимы. Тем более что сквозные темы свидетельствуют: перед нами течение, поток связанных («боги-реки»), порождающих друг друга смыслов. Более того, мы, люди, и есть часть общего потока, этих рек — «в наших руслах течет ваша кровь».

Сквозные текучие образы проходят через пространство книги, предлагаемое автором, как условие задачи: природа искусства, положение которого в общей природе вещей Майя Шере-

метева пытается определить. Окарина на месте (или — вместо) сердца, «культурные» животные, которые вполне могут оказаться поэтами... Богиня Тара, родившаяся из слезы бодхисаттвы, путеводная звезда, покровительница женщин обращается рекой-многоручечкой, притоком Иртыша с заболоченной поймой — и одновременно нереальной мифологической рекой «Индии детства», истоком творческого движения, сестрой. В эту воду, в эту книгу-реку заходит раба Божия Лида, Лидка Синецына, она же — девочка-побирушка, она же — умирающая, она же — обижающая, но прощенная мать. Заходит Толя-брат, живой, неживой, перешедший в природу духом или оленем: «Тот, кто умер — тот не умрет \ На другом берегу живет». Брат — дух-покровитель, присылающий весточку с белым вороном. В объеме алтайского мифа, которому следует (и который словно заново творит) автор, царят реки, горы, люди, идущие в горы, люди, познающие горы, и небо, и себя. Художник Таракай (то ли герой эпоса, то ли реальный персонаж, алтайский художник) явит свои рисунки, «долины, горы, водопады» — все из той самой «Индии детства», которая всегда с нами...

Поэтическая речь в этой книге обладает значительной степенью свободы, и отсылки к футуристам не делают ее менее свободной. Кое-где, например в стихотворении «Камлание на звук», хлебниковский пафос, тон, метод не только очевидны, но еще и подчеркнуты эпиграфом из Хлебникова. Но в особой этнографической среде, куда помещает их автор, они срабатывают иначе, выводя за пределы человеческой речи, — говорящий с духами шаман будит силу, называемую «духи-звуки». Это не совсем то, что у Хлебникова, который все-таки будил «спящих богов речи». Духи-звуки — не спят: «Свет и во тьме звучит и тьме его

не сожрать». Человек, поэт лишь присоединяется к общему звучанию-служению. Боги прыгают к нему в лодку, а лодка человека на реке жизни — его речь.

...Определенная смелость нужна, чтобы заявить: «сестры! сестры! \ стрижи и ласточки! \ можно мне с вами \ в разорванный воздух.» (в конце книги появляется еще и «расколотый воздух»). Разорванный, расколотый воздух, отголосок Мандельштама, конечно же, все узнают. Но его «ворованный воздух» — это признак борьбы поэта и человека за выживание, за возможность дышать, говорить без разрешения. А «разорванный воздух» свидетельствует о другой фазе необходимости — выйти за пределы этого воздуха, обходиться без него, жить вне. В каком-то смысле эта поэтическая контаминация служит для утверждения абсолютной свободы, которая, собственно, и есть предмет любой достойной книги, — небеса размыкаются и выпускают поэта в иные плотности. К счастью, именно о такой свободе нам дана возможность грезить.

Очевидно, что автор сознательно заостряет внимание на именах предшественников (о некоторых нам сообщают предисловия, о некоторых мы догадываемся — например, о Заболоцком), не скрывая собственных литературных корней, и тем самым позволяет читателю заглянуть на свою литературную кухню. Это благородно и безрассудно: всегда найдутся те, кто сочтут его эпигоном...

Однако же это благородное безрассудство (и я полагаю, что слово в данном случае приобретает ценность поступка) будет оправдано настоящим читателем, который увидит в этом лишь декларацию поэтического кредо: «Будем Звучить!» Работая на грани частного переживания и фольклорного высказывания, которое по своему принципу лишено индивидуальности, автор, соединяя их в балансе зву-

чания («камлание на звук»), производит впечатляющий смысловой объем. Звучащая речь ложится в лодку письменной речи, не теряя ничего. Это, как мне кажется, большое достижение: стихи звучат на бумаге. Книга — говорит.

...О такой книге странно писать рассудительную рецензию. Сама она, в общем-то, безрассудна — в том, как открыта читателю навстречу, в том, что бытовой объем так перемешан с бытийным, что возникают узоры чудовищной тонкости, хотя вряд ли это комплимент: становится страшновато среди тонкости и красоты. «Это Бог, он кора, мы сдираем его, а он не в обиде».

Здесь нет космических, отвлеченных вероятностей Хлебникова, здесь есть живые, человеческие, существа, которые ищут и находят Бога в неуловимости, в очаровании и разочаровании, в смерти. И она, смерть, превосходит себя как физическое через авторскую индивидуальную память, которая разговаривает на всех языках сразу: то просторечно утешаясь «молитовкой», то вспоминая славянское через буддийское, то становясь ребенком наравне с природой, то уходя с головой в какие-нибудь розы, то в горы поднимаясь с неизвестной, но неоспоримой целью...

Многослойная память формирует настоящее, где автор обладает непосредственностью и смелостью для того, чтобы называть вещи Именами — то есть, настигая их, вызывать к жизни. «Мы оказались сброшены с орбиты упорядоченного условностями языка и обречены на опасные эксперименты, но тем самым остались верны определению поэзии как “страстной погони за Действительностью”», — сообщает нобелевский лауреат Чеслав Милош в своих лекциях, прочитанных им в 1980-х гг. в Гарварде, и в книге Майи Шереметевой я нашла подтверждение такой «страстной погоне».

«Мы имеем дело не только с внешне, но и внутренне оригинальным поэтом» — под этим резюме поэта Олега Дозморова, опубликованным на «задней» обложке книги с рекламными, в общем-то, целями, я готова подписаться. Истинная оригинальность — опасное и влекущее свойство. Внешней оригинальностью можно спекулировать, можно быть похожим на футуристов, на фольклористов — на кого угодно при желании! Но вся глубина внешнего — это плоские буквы на тоненьком листке бумаги. Глубина истинной оригинальности — в частном, которое на наших глазах, в самый момент прочтения, разрастается до общего: «Мой фотоволчок ловит орлиный зрачок». И такая оригинальность в книге Майи Шереметевой просто царствует — я, например, не знаю другого поэта, который взялся бы за исследование такого расхожего символа, как роза. Существует ли в поэзии более обшарпанный, затасканный образ?

Но у автора есть мысли и вопросы насчет этого: «Что делать с розой», «Догнать розу», «Роза есть роза» — что такое роза для современного поэта? Неожиданным решением вопроса представляется стихотворение «Войска роз» — чрезвычайно многослойное, действие которого разворачивается в памяти взрослого рассказчика. Автор, вспоминая себя ребенком в дедовском саду, раскрывает это бытовое воспоминание (в доме кипит чайник, дед поливает сад, героиня бежит сквозь сад) через явление искусства — через эпический фильм Куросавы «Тень воина», который погружает нас в еще более глубокий культурный слой, в исторические события средневековой Японии. Осада замка Такатэндзин — вот что видит внутренний ребенок, помещенный в питательную среду культурных смыслов, накопленных за жизнь.

Герой стихотворения — именно этот внутренний ребенок, оживающий в чело-

веке в момент творчества, а воспоминания — процесс сугубо творческий. Розы же здесь — символ осаждаемых; можно даже сказать, что это войска вечно осаждаемой красоты: «Крепость не сдастся, пока звучит флейта». Вдруг на минутку это возвращает к Чеславу Милошу, к его стихотворению «Не больше», где он утверждает: «Из упорной материи \ Что можно извлечь? Ничего, красоту, не больше». Поэт, желающий описать действительность всецело, неизбежно сталкивается с недостаточностью языка как инструмента. Однако если «за употребленными словами ощущается присутствие в сжатом виде человеческих жизней» (из толкования Милошем этого

стихотворения, данного им в гарвардских лекциях), то поэт победил. И осаждаемый замок роз, замок высокой красоты и поэзии, устоял...

«Тень наша, Воины, превосходит себя»: двойник-«тень» полководца у Куросавы выходит на поле боя, где погибает. Но погибает уже не как человек, принужденный сражаться и погибнуть, а как Человек, сознательно выбравший сражение и принявший то, что суждено. Дух торжествует, его величие оказалось истинным — вот о чем говорят эти розы. И память воскрешает лучшие воспоминания как высокую красоту, символом которой роза все еще может оставаться...



Сергей МОСИЕНКО

НОВОСИБИРСКИЙ ПЛАКАТ

Плакат — сведенное в четкую визуальную формулу сообщение, предназначенное современнику для выводов и конкретных действий.

...Стояла чудесная пора — мы были молоды, талантливы и самоуверенны! Шли 1980-е годы, по стране неумолимо расплодился политический и экономический застой, а в нашем разношерстном, но сплоченном творческом коллективе все бурлило и кипело — мы занимались плакатом!

Мы — это Юрий Барышев, Евгений Белов, Владимир Брюханов, Дмитрий Дроздов, Александр Кальмуцкий, Владимир Каширин, Владимир Кирленко, Владимир Курилов, Сергей Лазарев, Евгений Лукин, Александр Медведев, Сергей Мосиенко, Владимир Мандриченко, Сергей Новоселов, Федор Осинных, Михаил Паршиков, Олег Рудцкий, Юрий Сокольников, Владимир Степанов, Александр Таиров, Александр Филиппов, Александр Шабанов...

Понятно, что коллектив сформировался не сразу. Понятно, что он перманентно менялся. Понятно, что не у всех сразу получалось хорошо. Понятно, что далеко не все удержались «в связке» — по разным причинам часть художников со временем увлеклась чем-то другим: книжной графикой, графическим дизайном, карикатурой. Кто-то ушел в педагогическую деятельность, в бизнес, а кто-то уехал жить в столицу... Но активный костяк, бесспорно, имелся, и вот на нем-то все и держалось.

Справедливости ради отмечу, что наша творческая деятельность развива-

лась не на пустом месте, у нас были предшественники. Да еще какие!

Отцом новосибирского плаката можно по праву считать Александра Иоганновича Брайта (1910—1979) — москвича, главного художника по загранвыставкам, которого в Новосибирск в 1945 г. «перевели» принудительно (сказались немецкие корни). Плакаты Брайта, конечно же, были политически ангажированными, но художественное исполнение работ и мастерство автора никогда и никто не подвергал сомнению.

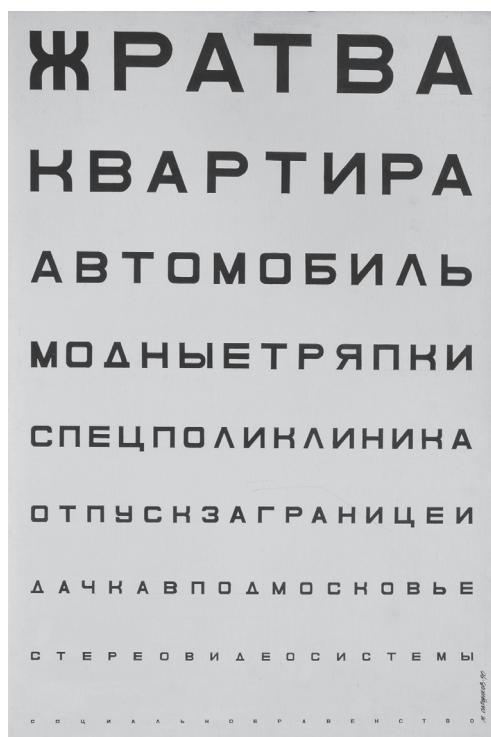
Эстафету у А. И. Брайта принял его ученик, вернувшийся с Великой Отечественной войны молодой художник Сергей Филиппович Пирогов (1924—2013). И плакаты Сергей Филиппович создавал уже не только политические, но и социальные, спортивные, культурно-зрелищные, при этом активно участвуя в своеобразных новосибирских «Окнах РОСТА», распространенных в 1960—1970-х годах.

Вот забавный отрывок из книги воспоминаний С. Ф. Пирогова «Палитра моей жизни»: «...Тогда во многих районах города устанавливали стенды, на которых помещали оперативную информацию и пропагандистские материалы, отражающие борьбу с пороками нашей жизни. По заказу вытрезвителя я рисовал сатирические плакаты, делал что-то вроде “Окон РОСТА”, даже нравоучительные

стихотворные тексты придумывал. Очень довольный своей такой вот общественно значимой деятельностью, я как-то навёдался в вытрезвитель и поинтересовался у его начальника: “Ну как? Действительна наша работа? По-моему, пьяниц на улицах города стало меньше!” “Разве? — удивился тот. — А ну пойдём!” Заводит меня в палату, а там под простыней лежит голубчик из... нашего творческого коллектива! Вот такой вышел казус...»

Большую работу по украшению советских городов (в том числе Новосибирска) вели и художники-исполнители, работавшие в широко распространённых тогда художественных фондах. Правда, это были в большей степени добротные ремесленные вещи типа «Летайте самолётами Аэрофлота!» или «Храните деньги в сберегательной кассе!», самостоятельного творчества там было мало.

В общем, так или иначе, но почва, на которой вырастали свежие плакатные силы города, была подготовлена.



М. Паршиков.
«Таблица для проверки зрения». 1990

Пожалуй, уместно будет упомянуть имя ещё одного художника-плакати́ста — Игоря Аксенова, выпускника НГУ и неофициального главного художника популярных в то время политических молодежных маёвок в Академгородке (1976—1986). Игорь создавал в основном полиграфические листовки небольшого формата, которые потом распространялись «в массах», — в полном смысле плакатами их называть было бы не совсем правильно, однако потребность среди молодежи в такой продукции, выпускаемой талантливым самостоятельным художником, была высока, и он даже стал лауреатом премии Ленинского комсомола.

По-настоящему же творческий плакатный бум в Новосибирске начался в 1980-х годах.

Поначалу независимо друг от друга сформировались две плакатные группировки. «Крестным отцом» одной из них стал молодой и талантливый Владимир Мандриченко, только что вернувшийся из Москвы, где обучался в полиграфическом институте. Мандриченко позиционировал себя тогда как театральный художник и занимался в основном театральным плакатом. А второй коллектив сформировался из художников-карикатуристов, которых я привлекал к работе во всесоюзном журнале «ЭКО» (издание СО АН СССР), где сам тогда являлся художественным редактором.

И я хорошо помню тот день, когда член нашего кружка, художник-проектировщик Михаил Паршиков на одной из выставок, проходивших в Доме актёра, познакомил меня с Владимиром Мандриченко. После этого обе группы, что называется, слились в творческом экстазе, и на десятилетие мы превратились в «яркое художественное явление» Новосибирска.

* * *

По средам мы собирались в подвале-мастерской у Мандриченко (он к тому

времени уже вступил в Союз художников СССР и имел свою хоть и «подпольную», но мастерскую). Там устраивались шуточные «блицкриги» между художниками: на кон ставились какие-то мелкие деньги, затем из энциклопедии наугад выбиралось какое-нибудь слово, и мы в течение трех минут должны были придумать и набросать на бумаге смешную или остроумную композицию «на тему». Потом картинки пускались по кругу и отмечались плюсиками или минусами — естественно, тот, у кого было больше плюсов, забирал весь «банк». Кстати, многое после таких брейнстормингов попадало на наши плакаты и в карикатуру.

В те времена одним из плакатных центров Европы была Польша. Польские плакатисты, невзирая на соцреализм, гремели по всему миру, их приемы и творческие ходы использовали многие плакатисты, в том числе и мы, — не напрямую, конечно же, не скатываясь в плагиат, но косвенно перерабатывая. Это была своего рода школа, и она дала свои плоды: наши плакаты постепенно стали попадать на серьезные международные выставки и конкурсы.

...Надо сказать, что все художники-плакатисты работали тогда примерно по одной схеме: вырезался кусок оргалита определенного размера (основные форматы — 90 x 60, 100 x 70 и 120 x 80 см), грунтовался чистой белой или слегка тонированной эмульсионной краской, а затем на него гуашевыми, поливинилацетатными или акриловыми красками наносилось изображение. Штучная вещь, господа, handmade!

Весил один такой «шедевр» около килограмма — искусство тяжелое в прямом смысле слова. Когда приходилось везти на себе пачку таких плакатов, упакованных в бумагу и пленку, на какую-нибудь выставку (особенно в другой город), зрелище было не для слабонервных! Кроме большого формата и ощутимого веса, имелся у этого вида творчества и еще один недостаток — уязвимость изо-

бразительного слоя. Как правило, после участия в двух-трех выставочных экспозициях работа начинала терять товарный вид: появлялись царапины, следы от рук, покоцанные торцы, углы и прочая «незадача», — у плакатов, изготовленных вручную, не предполагалось никакого защитного слоя (ни стекла, ни плекса), ибо это испортило бы впечатление от живости красочного слоя. Большим врагом такого плаката являлась и вода. Приходилось постоянно реставрировать свои произведения, но... Мы были молоды, энергичны и легко проходили все эти испытания!

В 1982 году новосибирское отделение Союза художников СССР предоставило нам свои залы для большой выставки плаката, где мы представили более ста листов! Это был настоящий праздник — впервые мы так широко показали зрителю свои работы, да и сами впервые увидели себя как бы со стороны. Конечно, были лестные отзывы в прессе, у нас брали интервью — и, чего уж греха таить, нам было приятно...

Член нашей группы Александр Филиппов первым отважился познакомиться с патриархом советского плаката фронтовиком Евгением Кажданом, приехавшим в Новосибирск по своим творческим делам. Евгений Абрамович согласился встретиться с нами, он оказался очень простым и общительным человеком, и вскоре наши художники стали посещать мэтра в его московской мастерской, перенимать опыт. Постепенно на нас обратили внимание и другие московские мастера плаката — художник-плакатист с мировым именем Ефим Цвик постоянно принимал у себя в мастерской наших сибирских «ходоков», посвящая в тайны своих творческих приемов и проводя встречи, которые сегодня, скорее всего, именовались бы мастер-классами.

Мы набирались опыта, выходили на все новые уровни — и вот, по-моему, в 1983 году нам предложили сделать выставку в помещениях отдела культуры ЦК ВЛКСМ! В те времена подобное

предложение расценивалось, естественно, как очень большая удача, ведь далеко не всем художникам выпадал такой счастливый случай.

После этого у нас (у кого-то раньше, у кого-то позже) стали появляться творческие «трофеи»: плакаты В. Мандриченко, Ф. Осинных, совместные плакаты С. Мосиенко и А. Таирова, а также С. Лазарева и А. Филиппова, работы М. Паршикова начали отмечать дипломами и наградами престижных вернисажей как в нашей стране, так и в странах «народной демократии»: в Болгарии, Чехословакии, Польше, на Кубе. Помню, какой ажиотаж вызвала новость о том, что политический плакат Федора Осинных «Нет — зловецким планам Пентагона!» («PERSHING-2») отхватил одну из первых премий за рубежом! Смелое неординарное решение темы через метафору («ракета-бритва»), найденное художником, действительно всех завораживало.

К середине 1980-х наша творческая группа достигла, что называется, необходимого «уровня компетентности» и мы



С. Мосиенко. «Политэкология». 2017

стали получать из столицы серьезные заказы на изготовление не только отдельных плакатов, но и целых циклов. В 1985 году по заказу ЦК ВЛКСМ и под кураторством Союза художников у нас родилась многолистная полиграфическая плакатная серия, приуроченная к открытию X Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Также нам поручили разработку и исполнение фирменных пригласительных билетов на часть мероприятий фестиваля (на так называемые «Творческие мастерские»). А еще на нас согласно договору легла и печать всей этой продукции!

Понятно, что ни мобильных, ни компьютеров с электронной почтой тогда не было, однако согласовывать с Москвой многочисленные эскизы, композиционные решения, форматы и оттенки полиграфической продукции было необходимо. Роль куратора-курьера-координатора этой жутко суетной работы добровольно взял на себя Александр Таиров (при этом он, естественно, продолжал участвовать и в творческом процессе). Саша мотался в Москву чуть ли не каждую неделю. Сроки были, как это часто случается в нашей стране, предельно сжатые. Но мы с честью выдержали испытание. Всё успели, все получилось!

А в 1987 году появилась на свет еще одна серия крупных полноформатных плакатов-оригиналов «Вехи революции», изготавливавшаяся конкретно для Всесоюзной художественной выставки в Москве, приуроченной к 70-летию Октябрьской революции. И, естественно, сроки тоже поджимали...

Хочу отметить, что групповая работа очень выручала нас при решении подобных задач, но это ни в коей мере не исключало и индивидуального творчества, что подтверждалось и систематическими закупками плакатов наших авторов в коллекции Художественного фонда России, Союза художников России, Союза художников СССР, Фонда культуры СССР и в другие крупные коллекции. Заключались договоры и со всесоюзным издательством «Плакат» на печать наших



А. Филиппов. «Вымрет». 1990

работ, а это значило, что разлетятся наши плакаты по всему Советскому Союзу: тиражи у издательства были миллионные...

* * *

Тут я прерву поток ярких воспоминаний, потому что пришло время уточнить, что же такое есть настоящий плакат. Так вот, читатель, настоящий плакат ручной работы — это, увы, искусство уходящее...

Это не банальная печатная афиша, не «агитка» или листовка, не рекламная картинка с текстом поверх слайда (излюбленный прием нынешних горе-плакатистов)!

Настоящий плакат — это симбиоз творческой идеи, мастерского художественного исполнения и грамотного шрифтового решения. Здесь чрезвычайно важны и виртуозная игра слов (если они есть), и метафора, и гротеск, и неожиданный цветовой ход, и формат работы, и еще многое и многое другое. На мой взгляд, искусство плаката сродни искусству сценографии: и в хорошем плакате, и в талантливой сценографии автору

необходимо найти сразу прочитываемую зрителем художественную концепцию, аллегорию, подтекст. Если не ошибаюсь, великий художник и сценограф В. Я. Левенталь однажды на вопрос: «Почему вы выбрали профессию театрального художника?» — ответил так: «Когда занавес поднимается, сразу видно — умный ты или дурак». Эти слова в полной мере можно отнести и к искусству плаката.

Одним из удачных примеров метафорического решения выбранной темы, безусловно, является плакат Владимира Паршикова «Ученые — селу», или, как мы между собой называем эту работу, — «Эйнштейн с лопатой». В подобном творческом ключе решен и упоминавшийся выше «PERSHING-2» Федора Осинных. Не менее удачной является и работа Дмитрия Дроздова «Наш паровоз вперед летит?» (1988). Достаточно взглянуть на каждый из этих листов, и сразу все понятно, сразу чувствуешь — работал мастер своего дела!

...А работали наши мастера в те годы, как говорится, часов не наблюдая. Помню

забавную историю, которая произошла в Подмоскowie, в одном из Домов творчества, разбросанных по всему Союзу. Группа новосибирских плакатистов готовилась к приему работ высокой комиссии из Москвы, работали они сутками напролет. А надо отметить, что тогда среди художников очень большой популярностью пользовался аэрограф — инструмент для нанесения жидкого красителя при помощи сжатого воздуха на какую-либо поверхность. При этом краситель, превращаясь в мельчайшую взвесь, незаметно оседал не только на нужную поверхность, но и на все вокруг. Понятно, что после долгих часов работы все кругом покрывалось тонким слоем разноцветной пыли. Так вот, в мастерской вместе с художниками ночевала и местная кошка, и когда она утром проснулась и ушла, то ее место на полу засияло ярким чистым пятном посреди всего остального интерьера, а сама кошка потом долго еще выглядела странной серо-буро-малиновой зверюгой.

...Дома творчества дали в те годы путевку в жизнь многим нашим плакатам. Практика в то время была такая — художников по решению правления Союза художников отправляли на два месяца в творческую командировку в Подмоскowie, в Прибалтику, на Кавказ или на Байкал. Там обычно им предоставлялись творческие мастерские, комнаты для проживания, трехразовое питание и абсолютно свободный график работы. Руководили такими сезонными заездами художников-стажеров кураторы из числа известных мастеров, обычно из Москвы или Ленинграда. Государство оплачивало художнику абсолютно все расходы. Но за эти два месяца райской жизни требовалось отчитаться перед приемной комиссией хотя бы одной творческой работой...

Мне посчастливилось побывать на таких «творческих дачах» несколько раз. Помню, как здорово было работать во Всесоюзном доме творчества «Паланга» в Литве, где собрались плакатисты со всего Советского Союза; интересно было на-

блюдать за работой ребят из прибалтийских республик — эти художники были асами плаката, они удивляли нас неординарностью решений и высоким качеством исполнения.

Там же, в Паланге, произошла забавная история. Наш заезд пришелся на весенние месяцы, а в день рождения Ленина, 22 апреля, тогда было принято по всей стране устраивать субботники. Московский куратор предложил и нам отложить на время кисти, аэрографы и карандаши, дабы «прочесать» лесок вокруг Дома творчества на предмет очистки от мусора. Нам выдали перчатки, бумажные мешки, и мы приступили к работе. Где-то через час подвели итог — вдесятером мы нашли всего несколько окурков и (пардон!) пару некогда кем-то использованных резино-технических изделий № 2. И всё! Вот такая она была, советская Прибалтика...

* * *

Ну вот, яркое и скоротечное десятилетие самобытного новосибирского плаката прокрутилось в моей памяти как некая короткометражка...

Начиная с 1990-х годов в связи с резкой сменой политической парадигмы потребность в творческом социально-политическом плакате стала заметно угасать и участники плакатной группы (а многие из нас к этому времени уже стали полноценными членами Союза художников) постепенно ушли в другие жанры.

Да и вообще плакат, исполняемый вручную красками на оргалите, практически прекратил свое существование — изменились технологии, появились новые информационные носители. Сегодняшние дизайнеры в основном занимаются рекламным плакатом, основанным на фотосъемке с последующей обработкой материала в Photoshop, где во главу угла поставлены формальные изобразительные приемы.

А это уже совсем другое кино, господа...

АВТОРЫ НОМЕРА

Аникина Ольга родилась в 1976 г. в Новосибирске. Поэт, прозаик, переводчик, эссеист. Окончила Новосибирский медицинский институт и Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «Новый мир», «Знамя», «Октябрь» и др. Автор четырех книг стихов и двух книг прозы. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Живет в Санкт-Петербурге.

Берязев Владимир Алексеевич родился в 1959 г. в Кузбассе. Окончил Литературный институт им. Горького. Автор поэтических сборников «Окоем», «Золотой кол», «Могилы Великого Скифа», «Посланец», «Тобук», «Кочевник», романа в стихах «Могота» и двадцати поэм. Член русского ПЕН-центра. Живет в Новосибирске.

Замшев Максим Адольфович родился в 1972 г. в Москве. Окончил Музыкальное училище им. Песинных и Литературный институт им. А. М. Горького. Автор нескольких книг стихов («Любовь дается людям свыше», «От Патриарших до Арбата») и прозы («Аллегро плюс», «Избранный», «Карт-бланш», «Весна для репортера»). Первый заместитель председателя МГО СП России, заслуженный работник культуры Чеченской Республики, лауреат премии в области литературы и искусства Центрального федерального округа Российской Федерации. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. С 2017 г. — главный редактор «Литературной газеты». Живет в Москве.

Злобин Володя родился в 1990 г. в Новосибирске. Трудится разнорабочим. Лауреат премии журнала «Сибирские огни» 2017 г. Живет в Новосибирске.

Казаков Владимир Игоревич — писатель, журналист, член Национальной ассоциации драматургов. Автор романов «Алкогольные хроники» (2008), «Происхождение видов» (2009), «Роман Флобера» (2013), «Воскрешение на Патриарших» (2019). Живет в Москве.

Коврижных Виктор Анатольевич родился в 1952 г. в с. Старобачаты Кемеровской области. Работает начальником караула в пожарно-спасательной части. Стихи и проза публиковались в ряде периодических изданий, в коллективных сборниках и альманахах. Автор восьми книг. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии журнала «Сибирские огни». Член Союза писателей России. Живет в с. Старобачаты Кемеровской области.

Комаров Константин Маркович родился в 1988 г. в Свердловске. Выпускник филологического факультета Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина. Кандидат филологических наук. Публиковался в журналах «Новый

мир», «Урал», «Вопросы литературы», «Знамя», «Октябрь» и др. Лауреат ряда литературных премий. Автор нескольких книг стихов и литературно-критического сборника «Бьют при тексте». Член Союза российских писателей. Живет в Екатеринбурге.

Матонин Василий Николаевич родился в 1957 г. в Архангельске. Доктор культурологии, профессор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, главный редактор альманаха «Соловецкое море». Автор десяти поэтических сборников. Лауреат литературных премий им. Н. Рубцова и им. Б. Шергина. Член Союза писателей России. Живет в Архангельске.

Михеева Светлана родилась в 1975 г. в Иркутске. Окончила Литературный институт им. Горького. Поэт, прозаик, эссеист. Автор нескольких книг прозы и стихов. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Волга», «Сибирские огни», «Юность» и др. Участник ряда литературных фестивалей. Член Союза российских писателей. Живет в Иркутске.

Мосиенко Сергей Сергеевич родился в 1948 г. в Латвии. В 1972 г. защитил экспериментальный диплом по художественному конструированию в Новосибирском электротехническом институте. В качестве художника сотрудничал с театрами, телевидением, книжными издательствами в городах Сибири. Участник более 300 выставок, конкурсов, художественных акций в России и за рубежом. Автор ряда статей в прессе и двух книг: «Картины сущего» и «ЗАО [Парк]». Творческое амплуа — живопись, графика, книжная и журнальная иллюстрация, плакат, карикатура. Член Союза журналистов России, член Союза художников России. Живет в Новосибирске.

Орлов Павел Александрович родился в 1974 г. в Новосибирске. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета, направление «История». Научный сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея. Охотник, рыбак, участник археологических работ в Хакасии, Красноярском крае, Новосибирской области и на Земле Франца-Иосифа. Живет в Новосибирске.

Прашкевич Геннадий Мартович родился в 1941 г. в с. Пировском Красноярского края. Прозаик, поэт, переводчик. Автор романов «Секретный дьяк», «Носорукий», «Теория прогресса», биографических книг о Жюлье Верне, Уэллсе, Брэдли и др. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат ряда отечественных и международных литературных премий. Живет в новосибирском Академгородке.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 11.12.2019. Дата выхода № 1 за 2020 г. в свет 22.01.2020.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.